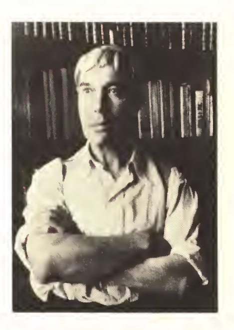
БИБЛИОТЕКА





№ 6 1990

ISSN 0132-2095



Борис ПАСТЕРНАК

ИЗ ПИСЕМ РАЗНЫХ ЛЕТ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 6

Издается с января 1925 года

Борис ПАСТЕРНАК

ИЗ ПИСЕМ РАЗНЫХ ЛЕТ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1990

БОРИС ПАСТЕРНАК

ИЗ ПИСЕМ РАЗНЫХ ЛЕТ

Говоря об основах художественного опыта Бориса Пастернака, приходится признать, что большая часть содержащегося в его стихах и прозе была в той или иной мере первоначально высказана им в письмах. Жизненные события, наблюдения и переживания, мысли и образы непосредственно заносятся в очередное письмо, чтобы, иногда через несколько лет, возникнуть в композиционно законченном произведении. Желание известить знакомого человека — естественный двигатель переписки, образцы которой занимают значительное место в духовной жизни прошлых веков. Сказанное в них приобрело общее значение, обогатило и укрепило жизнь, привело к тому, что в многовековой христианской истории общение между смертными стало бессмертным. Именно в этом видел Пастернак крепость и нерасторжимость сознания исторического человека европейской культуры, единомышленника и современника.

Составляя этот небольшой сборник из писем разных лет (1914—1960), мы хотели ознакомить читателей с его восприятием событий, оставивших глубокий след в истории и его собственной жизни.

Говоря о своем поколении в «Охранной грамоте», Пастернак писал: «Мальчикам близкого мне возраста было по тринадцати лет в девятьсот пятом году и шел двадцать второй год перед войною. Обе их критические поры совпали с двумя красными числами родной истории. Их детская возмужалость и их призывное совершеннолетие сразу пошли на скрепы переходной эпохи. Наше время по всей толще прошито их нервами и любезно предоставлено ими в пользование старикам и детям».

В 1928—1930 годах, когда писалась «Охранная грамота», Пастернак не мог предполагать, какие испытания ждали впереди этих мальчиков 1905 года, как разметала эти скрепы родная история переходной эпохи, что оставила в наследство их детям.

Критическая пора первой мировой войны застала Пастернака домашним учителем в семействе поэта Балтрушайтиса под Алексином. Картины надвинувшейся катастрофы ярко отражены в письме к родите-

лям. Через много лет он во всем трагизме первого впечатления восстанавливал их в «Охранной грамоте» или «Докторе Живаго».

Далее следует письмо, полное предчувствий конца войны и неизбежности революции. Характеристика кровавых событий революционной осени и голодной Москвы начала военного коммунизма смеияется письмами к старшим писателям (Брюсову, Горькому) о мучительно неплодотворном и искаженном политическим вмешательством творческом опыте 20—30-х годов. В частности интересная деталь времени — проверку перед поездкой Пастернака к родителям в Берлин в 1922 году проводит Троцкий, а Горький в 1930 году вынужден в такой поездке Пастернаку отказать.

Трагические события коллективизации оценены в письме к сестре. Сразу последовавший за этим расстрел молодого литератора Владимира Силлова (1930 год) стал для Пастернака страшным уроком и глубоким горем. Его причины и обстоятельства раскрываются в письме к отцу и, ретроспективно, к вдове Силлова, ехавшей в 1935 году в Воронеж. При этом оказывается, что все названные в этом письме друзья Пастернака либо уже в ссылке, либо их в ближайшие годы ждет трагический конец.

Отечественная война, эвакуация, беспокойство за судьбу близких — таковы темы писем Пастернака из Чистополя в Москву и Ташкент. Особенного внимания заслуживает письмо конца 1945 года к сестрам в Англию. Горечь потери родителей и боль долгой разлуки сочетаются в нем с радостной надеждой на послевоенную либерализацию и обновление. Непосредственно и ярко передается в нем импульс начала работы над романом «Доктор Живаго» и настроение первой его книги.

Письма начала 50-х годов передают жестокость и мрак того времени, когда, по словам Пастернака, видимость судит действительность, как писал он Симону Чиковани. Со смертью Сталина кончилось повальное исчезновение людей, многие вернулись, казалось, надежды на общественное покаяние и обновление близки и становятся реальностью. Пастернак кончил писать «Доктора Живаго» и предложил его к печати в «Новый мир» и «Знамя». Но надежды были напрасны. Позорный скандал вокруг присужденной ему Нобелевской премии стал выражением тяжелой болезни общества, зараженного подозрительностью и страхом перед свободным проявлением собственного мнения.

Предельным усилием воли Пастернак отметает труху нападок и угроз и находит поддержку в любви и признательности людей, далеких от литературы и свободных в своих суждениях. Он получает от них сотни писем, вступает в активную переписку с заграницей. Сотрудница библиотеки иностранной литературы и его старая приятельница Л. А. Воскресенская присылает ему выписки из западной прессы, отголоски его мировой славы, необходимую поддержку в период гонения и анафематствования на родине.

«Пастернак совершенно не нуждается в нашем сожалении,— узнавал он слова Джона Стейнбека,— как бы жестоко с ним ни поступили. Огорчение вызывают нищие духом официальные писатели, которые призваны вершить над ним суд. Эти стервятники от искусства с перебитыми крыльями полны ненависти и растерянности, увидев свободный полет орла».

Поддержка таких людей и неугасимое стремление остаться до конца живой творческой личностью помогли Пастернаку найти в себе мужество радостно поверить в будущее и взяться за новую большую работу над пьесой «Слепая красавица».

В феврале 1960 года ему исполнилось 70 лет. В конце апреля он слег в постель. Работа осталась неоконченной, 30 мая Пастернак скончался от скоротечного рака.

Октябрь 1989

Евгений Пастернак

Родителям

1.

<после 19 июля 1914>

Наконец-то! Это не упрек, я знаю, теперь не до писем вам, но когда же, как не теперь так настоятельна и непреодолима потребность в том, чтобы увидеть вас! Произошла молниеносная перестановка явных и тайных симпатий и антипатий. Не говоря о специально-племенных чувствах (sapienti sat)[1], душевное расположение всякого кочегара культуры — а таков прежде всего художник — не нуждалось до сих пор в толковании. И вдруг! История не знает ничего подобного и узурпации Наполеона кажутся капризами, простительными гению в сравнении с этим бесчеловечным разбойничьим актом Германии. Нет, скажи — ты, папа, на милость, что за мерзавцы! Двуличность, с которою они дипломатию за нос водили, речь Вильгельма, обращение с Францией, Люксембург и Бельгия!

И это страна, куда мы теории культуры ездили учиться! Рядом с этими, укладывающимися в строчку, потому что и газеты уже набрали их печатным путем, чувствами — стоячий как кошмар, цельный и непроницаемый хаос.

[1] Разумному достаточно *(лат)*.

Поездка Балтрушайтисов[1] — на рассвете, почти бегство. Целый день ливень, тоска, запустение. И это запустение, и эта тоска и прежде всего конечно, это ненастье, — во всякое иное время — столь благодатные для меня. Я не верю своему искусству, если направляю его в солнечный день: легкий жар, с которым это действие всегда так связано, исходит как будто бы все от того же полдня и ты не чувствуешь себя язычком пламени, зажженного на письменном столе в пасмурный утренник под оползающим, расседающимся небом. Такие дни — дни для лирика. — Эта подробность тоже не последняя светотень в сети частого этого безвременья. А когда я прочел воззвание Пуришкевича к забвению всякой племенной розни — не выдержал и разрыдался, до того все нервы перетянуты были. Господи, до чего нас измучили! Может быть все позорно это: Оболенское[2] и вывод отсюда и то, что после приступа этого заныло, взвыло что-то во мне и я без лишних слов, как в собственную свою комнату, прошел к Ивановым, у них пианино, — но у Веры Константиновны[3] брат офицер в Гродне!! Он не говорит вероятно о настроениях и о культуре и о Европе в эти дни и еще менее вероятно импровизирует. Но отчего же я остаюсь собою и не краснею? Нет, не шутка вероятно и наше дело и достаточно в нем фатального, которое вдруг оказывается таинственным образом сродни общему фатуму этих дней.

День — как в паутине; время не движется, но капля за каплею высасывается каким-то узлом ненастья, — и подчиняясь этой топкости засасывающего неба, выходишь к вечеру за ворота, за плечами — тургеневская изгородь усадьбы — впереди — свинцовая пустыня, пустыри в слякоти, жнивья, серые, серые, воронье, комья пара, ни души, и только полный, невыносимо многоверстный кру́гом очерченный горизонт вокруг тебя — ты — центр его заунывных ветров и центр его усыпительного гипноза и сколько бы ты ни шел, все будешь осью его, равномерно перекочевывающей осью. На горизонте, частые поезда товарные, воинские. И это все один и тот же поезд или еще вернее чье-то повторяющееся без конца причитанье об одном, последнем проползшем поезде, который, может быть, прошел и вправду, до этого наваждения, до этой мертвой думы, от которой оторвалась последняя надежда, в последний день, быть может 19-го, когда действительность еще существовала и выходили еще из дому, чтобы вернуться затем домой.

Я шел на станцию с повесткой о заказной какой-то бандероли. На Средней стоял воинский поезд с кавалерийским эскадроном. Солдаты вели себя как гимназисты на перемене, как камчаточники перед греческим уроком, который не пугает их, потому что они уже камчаточники.

---

[1] В семье поэта Ю. Балтрушайтиса летом 1914 г. Пастернак был учителем его сына Жоржа.

[2] Дачное место, где Пастернаки жили летом 1903 г.

[3] Поэт Вячеслав Иванов и его жена жили рядом с Балтрушайтисами.

Какая-то баба принесла пригоршню зеленых яблок, кавалеристы затеяли драку, с командой, шуточной и нервно-остроумной, иронизирующей над завтрашним днем. В пролетах вагонов — морды лошадей, благородные, породистые, вероятно офицерские, скучные глаза, далекие от наших тревог, пасмурные и поблескивающие.

Изредка труба горниста, распарывающая серый туман. Поезд ждал встречного: Средняя — разъезд. Подошел этот поезд почтовый, переполненный, люди не только на площадках, но на переходных мостках между вагонами стоят. Вдруг, как по команде, бабье причитанье вокруг, истерика — проводы запасных. Ты знаешь, слышал наверное в эти дни повторяющийся этот напев, в который хотят насильно втиснуть свой визгливый голосистый плач и утопить в нем все эти Каширские и Калужские, Алексинские и Тарусские золовки, невестки, соседки и молодухи? Я прямо содрогнулся от восторга при виде того, как солдаты воинского поезда, когда прошел почтовый, — со снисходительной насмешкой отнеслись к женской этой кутерьме. На каждой станции вероятно — то же самое, а сколько было их, этих станций, и сколько еще будет, — и многих провожали точно так же вероятно. О этот обыденный, как будто в порядке вещей он, — героизм их! Я твердо почувствовал, что если дело дойдет до крайности, и я, как и Шура, вероятно поведем себя как парижане сорок лет назад перед пруссаками. Но об этом лучше не говорить. Может быть, это слова только.

Зашел на станцию за бандеролью. Представь себе мое удивленье: из Мусагета[1], новая книга Эм. Метнера «Размышления о Гёте», с собственною его надписью: Борису Леонидовичу Пастернаку, на добрую память от Э. Метнера; по адр. Балтрушайтисов и только мне, мне, которого он всего 3 раза видел, с которым я лично не знаком и т. д.

И в такую минуту в этой глуши, в необъятности ненастья и разоренья, в день, как бы смытый с лица недели, день без назначения и наименования эта странная посылка неописуемо меня растрогала. Написал ему письмо на адрес Мусагета. Бедный, в какое время выпустил. Дельно, отчетливо, философски, без священнодействия существенно написанная книга. — Часто захожу к Ивановым. Он знает, что мы разных с ним толков, но нескрываемо, в особенности через посредство своей секретарши (напоминает Ек. Ив. Баратынскую)[2] — благоволит ко мне. Доказывает что то, что я называю просто обостренною выразительностью и вообще истинной, оригинально созданной художественностью — есть — я-с-н-о-в-и-д-е-н-и-е!! И когда я ему говорю что-то о наблюдениях над змеей или о том, как я представляю себе солнце в Египте с тою свойственной мне манерой независимости от нехудожественной при-

[1] Э. К. Метнер, теоретик музыки и литературовед, был редактором издательства «Мусагет».

[2] Екатерина Ивановна Баратынская — детская писательница, первая учительница Бориса Пастернака.

вычки и верности свежему впечатлению, к каким бы неожиданностям оно меня ни приводило, он повторял, что это все — плоды ясновидения и если бы я умел это запечатлеть так, как я умею об этом рассказывать, я заявил бы себя крупнее и значительнее, чем я, быть может, мечтаю об этом и т. д.

То же, что я говорил тебе в одном из моих писем (о своеобразном в принципе подходе к творчеству, об исходном и даже поддающемся теоретическому определению своеобразии своего дела), я чувствую с каждым днем решительнее, хотя ни единой строчкой не нарушил еще торжественного своего бесплодия последних 3-х месяцев. Вообще В. Ив. говорит, что я лучше и больше того, что я думаю о себе, хотя я ничуть перед ним не скромничаю; что никогда он не видал человека, который настолько бы вразрез со своими данными поступал, как я. Он имеет при этом в виду то рабское подчинение ритмической форме, которое действительно заставляет меня часто многим поступиться в угоду шаблонному строю стиха, но зато предохраняет меня и от той, опасной в искусстве свободы, которая грозит разливом вширь, несущим за собой неизбежное обмеление.

От М. И. получил сегодня письмо. Громадное спасибо тебе, папа. Правда ли, что Федя хочет в р. п. п.? Вот хорошо было бы! Пишите же поскорее мне! Если бы хоть скорее в Москву мне попасть!

Как тетя Ася? Уговорите ее в Москву переехать. Получил от квартирной своей хозяйки письмецо. Рад тому, что мужа ее не тронули.

Если Балтрушайтисы вернутся, испрошу у них разрешения съездить к Вам на пару дней. Сейчас чуть ли не ежедневно бываю у Ржевских и Ивановых. Вяч. Ив. остроумный, глубокомысленный собеседник и в прошлом, в молодых своих вещах серьезный поэт чистой воды. В нем есть что-то, напоминающее Гете, конечно только в манере держать себя. 9 семестров провел он в Берлине — но о Guillaume'е[1], как он его называет, говорит с тонким юмором.

Целую тысячекратно Боря

2.

Тихие Горы 9/XII 1916.

Дорогие мои!

Если до вас дошло уже сумасшедшее мое письмо одно, в котором я пишу о желании моем уехать отсюда и отдаленно касаюсь мотивов этого желания — прочтите его и предайте забвению. В тот день, как пришла посылка ваша, события, достигнув кризиса, быстро покатились

[1] Немецкий император Вильгельм.

под гору и «развертывание» их прошло сплошь по светлой солнечной стороне междучеловеческих сношений. Сейчас все прекрасно, мне не на что жаловаться и, думаю жаловаться на что-либо некому. В этом смысле посылка лишний раз доказала истину о вещей силе родительского, вернее материнского сердца; мамино письмо, не говоря о той радости, которую оно мне доставило безотносительно к чему-либо, имело значение материнского присутствия здесь в очень нужный момент и может быть эта приуроченность его особенно меня взволновала.

Когда-нибудь я вам расскажу про все то, что темными намеками вторгается в последнее время в мои письма к вам. Теперь я сделать этого не могу, да и не вправе. Вам важно знать сейчас, что ничего особенного не произошло и не произойдет — и вы должны этому верить: такие вещи не воспаление легких, о которых сообщают родным, называя болезнь насморком или гриппом. О таких вещах иные люди иного склада и с иной связью с домом — молчат вовсе, не видя надобности о них кому бы то ни было говорить.— Иные.— Иные же, заговаривая о таких вещах, договаривают все до конца. Середины тут не бывает и она не имеет смысла. И раз я проявляю все признаки откровенности и неспособности молчать перед вами, то вы должны принять за правило, что высказываясь, я высказываюсь до конца и без остатка. Итак — ничего не произошло и не произойдет и все прекрасно.

Опять вся способность моя на тоску по чем-либо сосредоточилась в тоске по работе. Сейчас она не находит себе удовлетворения, я по целым дням занят в конторе.

Однако я думаю это изменить: я еще не закабален и закабаления никогда не допущу. То, чего я хотел, в согласии с вашими желаниями, отправляясь сюда — достигнуто. Я не знаю, сообщал ли я вам это в виде определенного факта. Возможно, что нет. Теперь вы это знаете. Затем — лично для себя — я хотел перевести Свинберновскую драму[1]. Достигнуто и это.

Наконец,— в ходе событий некоторых — нет это слово здесь не подходит — скажу — в ходе некоторых насущных бесед и разговоров я пожелал устранить ту ложь, которая заключается в склонности нашей людской: называть именем «житейских драм» праздную порчу жизни, которая проистекает от книг, когда они в руках читателя, книги не производящего.— Поскольку это было в моих силах, я достиг и этого. Лучше сказать: я сделал все, что мог. Теперь, в ближайшем прошлом я не вижу за собой ни одного достойного желания, которое так или иначе не было бы удовлетворено. Вот почему я и сообщаю вам: все прекрасно.

Милые папа и мама, не ждите теперь от меня частых и подробных писем. Глупых пустяков я вам писать не умею и не хочу. Серьезные же схождения с вами требуют времени и свободной, не загрязненной кон-

---

[1] Рукопись перевода трагедии Суинберна «Шателяр» пропала затем в типографии.

торским мусором головы. Такую роскошь мне сейчас себе не позволять стать. Дождусь более удобного времени. Уезжать отсюда — я не уеду. Да и не от чего и не к чему.

Пробегая газеты, я часто содрогаюсь при мысли о том контрасте и о той пропасти, которая разверзается между дешевой политикой дня и тем, что — при дверях. Первое связано привычкой жить в эпоху войны и с ней считаться; — второе, квартируя не в человеческих мозгах, принадлежит уже к той новой эре, которая, думаю, скоро за первой воспоследует. Дай-то Бог. Дыханье ее уже чувствуется. Глупо ждать конца глупости. А то бы глупость была последовательной и законченной и глупостью уже не была.

Глупость конца не имеет и не будет иметь: она просто оборвется — на одном из глупых своих звеньев, когда никто этого не будет ждать. И оборвется она не потому, что глупость окончится, а потому, что у разумного есть начало и это начало вытесняет и аннулирует глупость.

Так я это понимаю. Так жду того, чего и вы наверное ждете. Иными словами: я не ищу просвета в длящемся еще сейчас мраке потому, что мрак его выделить не в состоянии. Зато я знаю, что просвета не будет потому, что будет сразу свет. Искать его сейчас в том, что нам известно, нет возможности и смысла: он сам ищет и нащупывает нас и завтра или послезавтра нас собою обольет.

Напиши мне, папа, что ты об этом думаешь.

Письмо это, которое будет послано с оказией из Казани, я заканчиваю тем, чем можно было начать: взаимным поздравлением: — с тем, что маме, кажется — не плохо; что — ты — кажется — работаешь с очевидным успехом и удачей; — что мрак скоро — кажется — сменится светом; что мне уже не кажется двойственным мое положение здесь, ибо двойственность его миновала и я — снова я.

Напишите непременно Збарским[1]. Человечно, великодушно, умно, интересно и словом — в достойном стиле. Они оба этого заслуживают. У Пепы были огорчения заводского характера, но и это миновало. Целую. Боря.

Ольге Тимофеевне Збарской

<ноябрь 1917>

Милая Ольга Тимофеевна!

Ну и спасибо же Вам, без конца и без краю! Скажу кратко и уверенно: как только поулягутся события, жизнь на жизнь станет похожа, и будем мы опять людьми (потому сейчас тут не люди мы) — выйдет большая моя вещь, роман, вчерне почти целиком готовый. Так вот, попадет-

[1] Б. И. Збарский (Пепа) инженер-химик и его жена Фанни Николаевна.

ся он Вам на глаза когда-нибудь, хоть не скоро это, знайте и запомните, что первую часть его подымать помогли мне Вы. Не шучу нисколько. Вы и вообразить себе не можете, как чудесно, насколько в пору и кстати Вы вдруг вспомнили обо мне. Вчера все вечером вышло. А при этой работе, в напряжении, заметил я, сгораешь чудовищно быстро. Подхожу я к окну, веско так, с думой на неделю, как быть, что-то завтра Бог пошлет, ночь темная, непроглядная, обычная стрельба в вымершем городе — что-нибудь пошлет непременно, думаю, кого-нибудь, нематериальное что-нибудь, поддержку какую-нибудь, или радость на подтопку, знаете, бывает так. И что же, утром звонят по телефону, длинный разговор о каком-то сборнике, назначаю плату, принимают, о радость! — как Вас звать, очаровательный тенор — так-то и так-то. Раз. А потом брат ко мне является: посылка тебе от Ольги говорят Тимофеевны, если не спутали у Ушковых в конторе.

Нет, не спутали в конторе у Ушковых, только не сказали ему, чем я заслужил у Вас такую память, щедрую такую и животворящую?! Ах, милая Ольга Тимофеевна, да объясняй я Вам битый час значение совершенного Вами, Вы ведь все равно вполне не поймете, что это за богатство, как просто — проницательно, свободно и благородно вышло это у Вас и — пришло ко мне от Вас и от вчерашнего Бога.

Вы не смейтесь, пожалуйста, я ведь сам сумасшедший немного, по-своему суеверен, и вероятно уже стар и дик душой — и год этот — ужасный, и город этот голодный, смертоносный и разрушающийся, не произведший за этот срок ни одной живой пылинки — все это, взятое вместе, способно лишить толковой речи хоть кого.

Но довольно об этом. Теперь Вы и сами уже уверились, что Вы — ангел. Сегодня как раз Фанни Николаевна уезжает. Страшно хотелось бы послать Вам чего-нибудь хоть отдале-е-нно напоминающего о значении Вашей посылки. Но в Москве ничего такого не найдешь или если есть что, так нет приступу. Вам расскажут побывавшие тут. Что мы одним чудом спасаемся, знайте Вы, одно из его чудесных орудий.

А потому, не взыщите ради Бога, на том ничтожном, что попрошу передать Ф. Н. — Вам. Говорят у Вас в этом недостаток ощущается. Это чистый вздор, но Вы ведь не осудите меня за то?

Я расспрашивал Ф. Н. о Вас и Якове Ильиче[1], она что могла и имела рассказала мне, только немного. Вот будет хорошо, если Вы напишете мне, как живете и что думаете, вспомянув, как чудно сиживали мы зимними вечерами в той всегда превшей комнатушке, где занимались военными и продовольственными и, в общем, татарскими делами. Вы,— сдерживая душивший Вас смех; я закуриваясь до одурения; В. Е. — насмешливо и резонно косясь из-под пенсне. А «картины» (кинематограф)! Существует ли он еще?

[1] Яков Ильич Збарский.

Вы где теперь живете? Напишите мне непременно. И пусть Яков Ильич, как приедет, коли будет охота. А я Вам отвечу. А к тому времени лед тронется, и с навигацией может наладится почта. А то с оказией: от Вас ведь ездят в Москву рабочие и служащие; и я тоже буду наведываться.

Скажите, счастливее ли стали у Вас люди в этот год, Ольга Тимофеевна? У нас — наоборот, озверели все, я ведь не о классах говорю и не о борьбе, а так вообще, по-человечески. Озверели и отчаялись. Что-то дальше будет. Ведь нас десять дней сплошь бомбардировали, а теперь измором берут, а потом может статься подвешивать за ноги, головой вниз, станут.— Ну, прощайте. Еще раз огромное спасибо. И еще от людей Вам неизвестных, кот. тоже попользовал. Дружески жму Вашу руку

Ваш Б. Пастернак.

Привет Якову Ильичу. Поклоны всем, кого встречаете и кто заслуживает.

В. Я. Брюсову

Петроград, 15/VIII—1922

Дорогой Валерий Яковлевич!

Если бы я попросту и запросто собирался к Вам все то долгое время, что я мечтал о посещении Вас, ссылка на многочисленные помехи, тому препятствовавшие, не имела бы смысла. Находил же я время, между дел, для встреч с приятелями, для чего хотите, и среди последнего, в первую голову, для мечтаний о настоящей встрече с Вами. Вот эта-то мечта, совсем особенная и сообщила препятствиям характер непреодолимости, которого у них на деле не было. Встреча с Вами должна была по мысли моей и по чувству быть отчетной и исчерпывающей, ей должен был быть посвящен целый день,— в том смысле,— что часу, который бы Вы разрешили мне провести с Вами, не должно было предшествовать ничего отвлекающего и ничто постороннее и озабочивающее за ним не должно было следовать. Таким мыслился мне этот,— гадательный — а теперь уже утраченный день в меру той нешуточно глубокой признательности, вне и без которой я не могу и никогда не смогу сделать ни одного Вам навстречу шага. Вы склоняете к простоте и короткости в обращении,— склонили многих и не таких, как я,— склонился бы к этому и я,— да Вы тут верно не при чем.

Вероятно эта моя признательность глубже хорошей учтивости,— и по-видимому поток этой благодарности, всплывающей при всякой моей мысли о Вас, направлен столько же к Валерию Яковлевичу, столько и к Брюсову, к поэтической силе высокой (по размерам и по степени) заразительности, к родной и, вместе с тем,— старшей стихии, которая

сначала — помощью заочной заразительности сложила тебя и как бы вызвала к существованью, затем — тебя заметила и тебя назвала — и — наконец, (как кажется многим) — в деле рук своих и в своем предвиденьи оказалась правой. Если бы я сказал, что я сплошь и целиком — ученик Ваш, что я вышел из Вас,— так, как из Вас вышли Гумилев, Ходасевич и многие — это было бы лестью, это было бы неправдой.— И это было бы приниженьем той правды, которая меня с Вами связывает, которою я горжусь и которая многим значительнее зависимости от Вас упомянутых.

Если у индивидуальности есть лицо, и если оно — целостно, то в любой из эмоциональных плоскостей этой индивидуальности (любовной, волевой, творческой и пр.) — обязательно имеется другое человеческое лицо, к которому целостность первой восходит как к своему началу, и в присутствии которого лицо индивидуальности,— потрясается, освещается, собирается воедино.

Таким лицом в сфере моих художнических, артистических, мужественно творческих чувствований, в сфере ощущенья поэта в себе — являетесь Вы. Это трудно объяснить, Валерий Яковлевич, и значило бы стать вовсе фантастичным, если бы, воспользовавшись подсобным определеньем, я бы просто, аналогизируя приемы уравнительные, выразился алгебраически и безапелляционно: больше всего я Вам благодарен за то, что, кажется не подражая Вам — иногда чувствую Брюсова в себе — это тогда, когда я чувствую над собой, за собою и в себе,— поэта.

Странность этого ощущенья богата следствиями и производными. Так например при всяком внешнем успехе — я радуюсь ему и им горжусь. Радость оставляю про себя, как нечто интимное, детское и приватное. Гордость же по этому странному балансу целиком отписывается Вам. Знайте, Валерий Яковлевич, что никогда я не горжусь собою, но всегда тем, что Брюсовское дело (поэзия порывистая и выразительная, нескоро стирающаяся) преуспевает, идет от признанья к признанью. Так,— тут например в Петербурге сильно и крупно выделил мою прозу (напечатано в «Наших днях») — Мих. Ал. Кузьмин, поставив ее выше Белого и Ал. Толстого, не говоря уже о Пильняке и Серапионцах. И — объясните это мне, Валерий Яковлевич — я порадовался за Вас, вспомнив Ваши вкусы, Ваши заказы и заветы литературе, Ваших друзей и уклоны, Вам не улыбающиеся. И когда я уже был так близок к отъезду, что казалось не оставалось уже надежды поспеть к Вам, я все-таки твердо верил, что Вас увижу — и вот подробность: ко мне зашел брат Софьи Парнок — Валентин Парнах.— На моей совести большой грех: его книжка, надписанная Вам, пролежала у меня несколько месяцев. Последнее время, по выходе «Сестры Моей Жизни» я положил Парнахову книжку с Вашим экземпляром «Сестры» рядом. Парнаху я его книги, Вам предназначенной, не отдал, уверив, что отнесу вместе со своей.

Это было уже накануне отъезда. Я все еще надеялся. Но вот, не пришлось. Не пришлось оттого, конечно, что я не умею жить, ибо уменье жить (в лучшем смысле этого слова) в том и заключается, чтобы уметь делить время между важным и неважным, существенным и насущным, важного и существенного этим дележом не ущербляя и не профанируя. Кончилось тем, что я обе книжки увез с собой в Петроград. Теперь с пути (я еду за границу) посылаю их Вам по почте.

Я еду в Германию на полгода или на год, если удастся. Еду работать. То же неуменье жить не дает мне возможности поделить время между работою и не-работой, как того требует Москва.

Оттого и еду. Я знаю, что внешне — порчу себе, так как несомненно меня в мое отсутствие так же быстро покатят вниз, как вкатили, меня не спрашиваясь, наверх, — на высоту вполне условную и, еще не заслуженную, и малопонятную. Сделают это «молодые», то есть те, из которых (представьте себе!) некоторые пишут кровным моим тоном, вовсе этого за собой не зная и не видав «Сестры»[1], — благодаря вторичным — горизонтально-круговым заимствованьям друг у друга. Живой пример. Некий Цветков в Москве приходит ко мне и аттестуется: «юный земли поэт» — передайте пожалуйста эти мои стихи Есенину, если увидите, — я крестьянский поэт — его мол десятка. Потом развертываю — живая «Елена», — другое — того чище, то есть в такой степени, в какой я б этого ни о ком не сказал!

А Вам, Валерий Яковлевич. Неловко, право, всерьез говорить с Вами об этом новом «мастерстве». Две-три тощие тетрадки. Вам вот что скажу. Честное слово я не придаю этим удачам никакого значенья, кроме одного только, что я на верном, кажется, пути и что на нем нельзя останавливаться. Меня очень удовлетворил отзыв Городецкого о Ваших новых книгах (в Известиях — июль, кажется). Хотя подход мне не свойственный и слегка поверхностный, все же сознанье серьезности задачи — налицо, и должная оценка разбираемого дана в тоне разбора...

Перед самым отъездом вызвал меня к себе Троцкий. Он более получаса беседовал со мною о предметах литературных, жалко, что пришлось говорить главным образом мне, хотелось больше его послушать, а надобность в такой декларативности явилась не только от двух-трех его вопросов, о которых — ниже; потребность в таких изъяснениях вытекала прямо из перспектив заграничных, чреватых кривотолками, искаженьями истины, разочарованьями в совести уехавшего. Он спросил меня (ссылаясь на «Сестру» и еще кое-что, ему известное), отчего я «воздерживаюсь» от откликов на общественные темы. Вообще он меня очаровал и привел в восхищение, надо также сказать, что со своей точки зрения он совершенно прав, задавая мне такие вопросы. Ответы и разъ-

[1] Б. Пастернак. «Сестра моя — жизнь». Книга написана в 1917, издана в 1922 г.

ясненья мои сводились к защите индивидуализма истинного, как новой социальной клеточки нового социального организма.

Проще: я начал с предположительного утверждения того, что я — современег, и что даже уже французские символисты, как современники упадка буржуазии, тем самым принадлежат нашему времени, а не истории мещанства: если бы они с мещанством разделяли его упадок — они мирились бы с литературой периода Гюго и молчаливо удовлетворенно погибали, — а не остро чувствовали и творчески себя выражали. Я ограничился общими положеньями и предупрежденьями относительно будущих своих работ, задуманных еще более индивидуально. А вместо этого мне может быть надлежало сказать ему, что «Сестра» — революционна в лучшем смысле этого слова. Что стадия революции, наиболее близкая сердцу и поэзии, — что, — утро революции и ее взрыв, когда она возвращает человека к природе человека и смотрит на государство глазами естественного права (американская и французская декларации прав) выражены этой книгою в самом духе ее, характером ее содержанья, темпом и последовательностью частей и т. д. и т. д. Очевидно придется как-нибудь написать об этом.

До свиданья, дорогой Валерий Яковлевич, — и еще раз — горячо Вас за все, что Вы из меня и для меня сделали — благодарю. Не разочаровывайтесь во мне, как части Вашего собственного дела, если (по некоторым соображеньям) внешняя судьба теперь изменит мне.

Не знаю отчего я об этом заговариваю и может быть ошибаюсь. Однако больно мне будет перестать «гордиться Брюсовым» — как выше, — хотя бы на время. Я напишу Вам еще из-за границы, где на первых порах остановлюсь на Fasanenstrasse 41, Pension Fasaneneck Berlin W. Крепко жму Вашу руку. От души желаю Вам всего лучшего и побольше счастливых досугов.

До свиданья

Любящий Вас Б. Пастернак

Николаю Асееву

21. XII. 27.

Дорогой Коля!

Я не так виноват перед тобой, как тебе покажется. Когда я дал согласье переслать тебе оставленные деньги, я имел в виду способ сложный, обменный, ты знаешь, какой, а не прямую пересылку через банк, которая, помимо чудовищной хлопотливости еще и попросту в ближай-

шие месяцы, до краев расписанные очередями, неосуществима. Итак, лежат они у меня и ждут тебя или твоих распоряжений, более мыслимых. Собака ты, конечно, что не написал мне до сих пор. Прислал хотя бы открытку с адресом. Впрочем не убивайся, упрек бесстрастный и незначащий, я наперед знал, что так будет, да и сам бы на твоем месте так же себя вел.— У нас тут чудесные трескучие морозы и есть на что глядеть из окна. Не скучаю среди полосы семейного гриппа, которую открыл сам, как глава. Близится Рождество, на всех углах косматятся костры, видно как дышат на улице безумцы со свертками, и так как даже и лошади стали трубачами, то весь кусковой воздух кажется мороженной музыкой, помешавшейся на орехах, яблоках и стеарине. Новый год хочу встретить с Володей[1]. Я хочу испытать, могу ли я еще его любить, как хотел бы, и по силам ли ответное чувство ему.

Нелегко среди «хороших людей», в большинстве самозванных. Ими, без кавычек, должны были бы быть вы, и черт вас поймет, почему вы предпочли быть мерзавцами по праву. Может быть ты вспыхнешь от последнего слова, найдя, что и шутке есть мера, но разве это не так? Конечно не все в жизни логично и теченье лет скорее дано не на решенье задачи, а на изложенье, на выписку ее распираемой недоуменьями формулы, которую решают поминатели, как бы низко или высоко, и где бы именно ни стоял поминаемый. То есть я говорю не о слове, а о рядовой памяти переживающих, об Иване Ильиче[2]. Я знаю, что клубок моих недохваток, недоотвлеченностей и прочих свинств в отношеньи тебя разорвут, распутают и объяснят другие. Моя дружба с тобой и в прошлом и сейчас одинаково естественна и фатальна, и вот не из одного же только благородства ты мне не колешь глаз тем, что я тебя меньше радовал, чем огорчал. Но не этих роковых слоев я касаюсь. «Понедельничная» деятельность проходит без метафизики, о ней можно было бы говорить логичней. Ну не безумье ли, что у нас нет журнала, от которого молодежь теряла бы голову и который чем-то напоминал бы праздничную стужу, как напоминало ее все то, к чему прикасались, когда-то, такие же, как мы, Белый и Блок. Помнишь?

Впрочем и эти вздохи у меня тоже незначащи и бесстрастны. Все это верно порядком надоело тебе. Однако будь благодарен, что я письмом тебе напомнил, как тут тесно, бесплодно и накурено. Тем радостнее ты ощутишь, что далеко от Кривоколенного, обнимешь и расцелуешь по моей просьбе Ксаночку[3], и оглянешь красоту и вольность твоего, столь скрываемого, географического секрета. Счастливо встретить вам обоим 28-й.

---

[1] В. В. Маяковский.
[2] Герой повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».
[3] Ксения Михайловна Асеева.

Лидии Пастернак

9.I.30.

Дорогая Лидочка!

По получении твоего письма я тебе ответил тотчас открыткой. Она лежала с неделю, то есть вернее, я носил ее в боковом кармане с собой, выходя на улицу. Но в газетных киосках не находилось доплатной марки, которая мне была нужна, а через три дня я сам разорвал ее, так как весь смысл ее пропал, хотя в ней его и не было.

Теперь я тебе пишу во избежанье обиды с твоей стороны и беспокойства со стороны родителей. Я не отвечал потому, что писать решительно не о чем.

У нас были жестокие морозы с обычным у нас в такие холода квартирным злом. Коридор, примыкавший к папиной мастерской, уже в теченье многих лет отделен перегородкой, доведенной до потолка. Он, помнишь, и раньше не отапливался и был холодный, а теперь в морозы в нем как в сенях. Чем больше топишь внутри, тем резче разница температуры в комнате и в нем. И вот все мы простужались и в разные сроки переболели гриппом, по счастью, впрочем, в слабейшей форме и без осложнений. Ты это письмо перешли папе. Последним от него было большое и очень содержательное письмо, с пересказом Олиных бедствий[1]. Они действительно — гомерических размеров, но вовсе не исключительны, как должно вам казаться. Сейчас все живут под очень большим давленьем, но пресс, под которым протекает жизнь горожан, просто привилегия в сравненьи с тем, что делается в деревне. Там проводятся меры широчайшего и векового значенья, и надо быть слепым, чтобы не видеть, к каким небывалым государственным перспективам это приводит, но, по-моему, надо быть и мужиком, чтобы сметь рассуждать об этом, то есть надо самому кровно испытать эти хирургические преобразованья; со стороны же петь на эту тему еще безнравственнее, чем писать в тылу о войне. Вот этим и полон воздух.

Знаешь ли ты, что Геня (Генр. Петр.[2]) в Москве? Я ее раза два видел в концертах и уговаривался, чтобы позвонила и пришла. Ей этого очень хочется, встречала она меня почти восторженно, да и я ее хотел бы видеть, но она не заявляется.

Положительно не о чем писать. Что еда, питье и прочие необходимейшие элементы у нас еще осязательны, совсем как в жизни. ты, вероятно, догадываешься. Все же остальное на наши привычные представленья не похоже. Точно в витрине большого магазина швейных машин. Сидят рядком выставочные манекены-портнихи, руки на ручках швейных машин, последние же вращаются на приводе от динамомашины, бесшумно и гладко, ибо — на холостом ходу. Вот верное изображенье

[1] Двоюродная сестра О. М. Фрейденберг была под угрозой выселения.
[2] Лунц — приятельница Пастернаков.

нашей жизни, трудолюбивой, гладкой и бесперебойной. Но я об этом когда-нибудь расскажу, мы ведь увидимся, будет время. Теперь тороплюсь обнять тебя и отправить письмо; как бы не забеспокоились наши, от нас давно ведь не было вестей. Пусть мама сообщит, когда следует мне возобновить периодические посылки бабушке, временно прерванные. Поцелуй Федю, Жоню и Аленушку.[1] Б.

Л. О. Пастернаку

26.III.30.

Дорогой папа!

Поздравляю тебя с днем рожденья. Какой ты молодец, как замечательно живешь, какой путь проделал! Крепко тебя целую и обнимаю.

Я давно хотел тебе написать, что здесь во втором М.Х.А.Т'е то есть бывшей студии Моск. Худ. Театра идет переделанное Воскресенье, в мизансцене, значительно примыкающей к твоим иллюстрациям. Говорю так неопределенно-окольно и осторожно, потому что сам еще не смотрел, видевшие же восторженно хвалят в один голос и передают, будто твои иллюстрации, перенесенные из музея (?), развешаны в фойе. Ты разумеется удивишься, что я еще не сходил, и будешь прав; но ты удивишься еще более, если узнаешь, что на это зрелище, которое ничего, кроме удовольствия не обещало, я еще и должен был пойти, чтобы не обидеть автора переделки, просившего меня на премьеру. Я тогда и не знал, насколько ты, в духе и незримо, участвуешь в постановке, а то бы я во всяком случае, побывал. А тут я не только упустил возможность, но еще и должен был попросить извинения, что не смогу воспользоваться билетом. Прислан был один, а Женя у меня... обидчива; Женичка[2] чем-то хворал; накануне, в аналогичной ситуации, я ходил с знакомой (Женя не могла пойти по причине Женичкиной простуды и ее билет пропал бы) на генеральную «Коварства и любви» в новой постановке. Вышло бы, что я каждый день хожу в театр, а она прикована к дому. Получилось бы нечто мрачное, а свету и так кругом и дома не много. Как бы то ни было, Воскресенье у меня на очереди, и чуть побываю, напишу. Вы, я помню, тоже ведь много посещали театры, и из них не выходили,— а насколько времена были легче!

Да что и говорить. Вот тебе пример того, как я живу. Знал я одного человека, с женой и ребенком, прекрасного, образованного, способного, в высшей степени и в лучшем смысле слова передового. Возрастом он был мальчик против меня, мы часто с ним встречались в периоде меж-

---

[1] Сестра Жозефина Пастернак, ее муж и дочь.
[2] Женя и Женичка — жена и сын.

ду 24-м и 26-м годами, а по роду своей деятельности (он был лектором по истории и теории литературы в пролеткульте и в нескольких рабочих клубах), главное же, по чистоте своих убеждений и по своим нравственным качествам он был пожалуй единственным, при моих обширных знакомствах, кто воплощал для меня живой укор в том, что я не как он — не марксист и т. д. и т. д.

В последнее время я мало с кем встречаюсь. Недавно я случайно, и с месячным запозданьем узнал о том, что он погиб от той же болезни, что и первый муж покойной Лизы.[1] После всего изложенного ты поймешь, как ужасен этот случай. Ему было 28 лет. Говорят, он вел дневник, и дневник не обывателя, а приверженца революции и слишком много думал, что и ведет иногда к менингиту в этой форме. Когда, узнав все это, я пошел к его жене, с которой был одно время в большой дружбе, у ней уже зарубцевалась шрамом через всю руку ее первая попытка выброситься из комнаты на улицу (ее удержали, она только успела разбить стекло и сильно себя поранила).

Вот тебе и театры.

Я много работаю сейчас, но очень медленно и трудно. Чем дальше, тем труднее мне определить, что это собственно такое, философия ли, искусство ли или что-нибудь другое. Но в художественном письме не требуют от себя мыслей, доведенных до точности формулы, а в контексте, где уместны формулы, не добиваются живости художественных изображений. Я же подчиняю себя и этим требованьям и многим другим, что чудовищно замедляет работу и отражается на заработке.

Не забудьте, сообщите Лиде мою просьбу. Как только у ней освободится № Звезды, ей посланный, пусть она его пошлет бандеролью по следующему адресу: Prince D. Mirsky, 17, Gower St. London W C 1. Повести посылать не надо, там знают, а только журнал с «Охранной грамотой». Пусть сотрет, если там что-нибудь написано ей, но разумеется это не относится к знакам корректурной правки, которых стирать не надо. Вот и все. Женю вчера с Федей и Аленушкой поздравил. Поздравляю и вас с новым внуком. Обнимаю вас обоих и целую.

Ваш Б.

О. Г. Петровской-Силловой

22.II.35.

Оля дорогая, какая Вы умница, что догадались написать мне. Горячо благодарю Вас. Я сразу Вас увидел и Ваши большие глаза, точно вчера

[1] Муж Лизы Гозиассон был расстрелян.

мы расстались. И услышал Ваш голос,— при сходстве с Володей Олег[1] наверное как Вы говорит, это уже и тогда было.

И хотя в немногих, ничем не неожиданных словах,— как напомнили Вы мне Володю, как разительно перенесли в дни, неотделимые от его присутствия! Рискуя вызвать у Вас слезы моими случайными, необъективными словами,— не могу сдержаться. Последние дни, когда я получил Ваше письмо, и вот Вам отвечаю,— совершенно для меня — Володины, вероятно я в такое время всего чаще встречал его. Это время впервые замечаемой городской весны, когда дня прибавляется настолько, что это вдруг обнаруживаешь, и с зимней отвычки начинает поражать пустое светлое небо после обеда, когда столько месяцев подряд зажигали лампы. Весь день не закрываешь форточки, сошедший снег не заглушает шума, ощущение такое будто с домов сняли крыши, и их место на всех углах заняло целодневное замешкавшееся небо. На таких улицах, вдоль черных бульваров естественно бывало встретить Володю, под тележно трамвайный грохот, оставлявший от его разговора лишь легкий облик совершенной чистоты, передававшейся глазами, улыбкой и всею фигурой.

Я ничего не сказал, Олечка, я только хотел сказать, что это — Володина погода. Нехорошо гоняться в письмах за ощущениями большой драгоценности и последней неуловимости. Вместе с такими попытками в них врывается что-то от литературы, и притом дурной. А литература в письмах не удается. Тут и приходится вычеркивать. Письма надо писать в градусах средней умеренности. Я не раз еще это правило нарушу.

Доказательства явились раньше, чем я думал. Смотрите, чего не намарал я, пустившись было описывать «свою жизнь». Так когда-то писали, бывало, знакомые барышни.

Самым для меня существенным за время, что мы с Вами не видались, было мое знакомство, а теперь и дружба моя с двумя замечательными грузинскими поэтами, Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили. Я их очень люблю. Хотя я с ними много чего прожил, но мне от их приезда к приезду все больше кажется, что они кусок какого-то моего, совместного с ними будущего, пока нам неизвестного, что, несмотря на тесноту и нынешней нашей связи, существо ее впереди.

Мне надо было бы еще прожить лет 8—9, до Женичкина совершеннолетия: вот отчего, хотя и робко, и поплевывая, чтобы не сглазить, я пробую заглядывать вперед.

Мне хочется написать роман, настоящий, с сюжетом, и чтобы это было в наши дни. Я его начал, и, Олечка, как трудно писать хорошо и просто! Не поймите так, будто я думаю, что это у меня когда-нибудь выйдет! О нет. Но и забота о содержательности утомляет до полоумья.

Сколько всего кругом и позади, как все перемешалось. Я пишу Вам, и должен напоминать себе, что между нами ничего не было, потому что

[1] Олег Владимирович Силлов — сын Ольги Георгиевны.

временами ловлю себя на том, что пишу Вам, как писал бы с того света Жене, Зине, или еще кому-нибудь и себе самому там, позади, в жизни. О, ведь в этом-то и дело, Оля, не в женском, не в романическом (где его границы?), а в том, что каждый из нас был по-своему всеми остальными, что все прожито всеми вместе, каждым зараз. Когда, как кажется, я напоминаю К. Н. Бугаевой Андрея Белого, дело не в ней и в нем и не во мне,— это частность. А в том, что это с нами со всеми, что такова огромная односемейная жизнь человечества, что я всегда это знал, и для того жил. И Вы правы насчет Олега. То же и в маленьком Жене. Растет замечательный друг мне, если я успею, если доживу.

Способны ли Вы это понять без мистики, со страстью факта, скажем просто: живо, по-советски? Потому что на этом я хочу построить свою советскую современную вещь. Всю на фабуле, без философии.

Я остался таким же как был. Весь я, как есть, в утверждениях предыдущей страницы. Только это — я, и жаль, что это нельзя вписать в паспорт, вместо возраста, еврея и прочего — вещей фантастических, спорных, горько-непонятных.

Я ни капельки не изменился, но положенье мое морально переменилось к худшему. Где-то до съезда или на съезде была попытка, взамен того точного, чем я был и остался, сделать из меня фигуру, арифметически ограниченную в ее выдуманной и бездарной громадности, километрической и пудовой. Уже и тогда я попал в положенье, нестерпимо для меня ложное. Оно стало теперь еще глупее. Кандидатура проваливается: фигура не собирается, не хочет и не может быть фигурой. Скоро все обернется к лучшему. Меня со скандалом разоблачат и проработают. Я опять вернусь к равенству с собою, в свою геометрическую реальность. Только бы дожить до Жениной зрелости, дописать бы только вещь.

Целую Вас и Олега. Спасибо, что написали. Будете в Москве, обязательно заходите. И хорошо бы застали Табидзе и Яшвили. Я Вас с ними познакомлю.

С Женей большой говорили о Вас накануне получения Вашего письма. Я у ней часто бываю. Вот ее адрес: Тверской бульвар, д. 25, кв. 7.

Мандельштамам кланяйтесь[1]. Они замечательные люди. Он художник неизмеримо больший, чем я. Но, как и Хлебников, того недостижимо отвлеченного совершенства, к которому я никогда не стремился.

Я никогда не был ребенком,— и в детстве, кажется мне. А они...

Впрочем, верно я несправедлив.

Черкните мне, Оля.

Ваш Б. П.

---

[1] О. Г. Силлова ехала в Воронеж.

М. Горькому

1.

31.V.30.

Дорогой Алексей Максимович!

У меня к Вам огромная просьба. О ней — ниже, вперед несколько слов о другом.

Я видел Вас три раза в Ваш первый приезд летом 28 г., и на третий, чтобы не показаться бессловесной куклой попросил слова в Вашем присутствии на собрании в Красной Нови[1]. Когда я кончил, Вы поднялись и не глядя в мою сторону покинули собранье. Безмолвная укоризна, которую нельзя было не прочесть в этом движеньи, осталась для меня загадкой. Я уловил упрек, но не понял его. Однако я понял, что какие-то мне неведомые обстоятельства так низко уронили меня в Ваших глазах, что при невозможности все это выяснить, мне придется с этой тяжкой неизвестностью примириться. С того вечера я ничем не беспокоил Вас. Я и сейчас не осмелился бы нарушить этот порядок, если бы не весенняя моя встреча с П. П. Крючковым[2].

Он может рассказать Вам, какую неоценимую поддержку он неожиданно оказал мне в трудную для меня минуту. До посещения его на Кузнецком я с ним не был знаком. На столе лежала редакционная почта. Я узнал Вашу руку и естественно зашел разговор о Вас. П. П. слушал, кивая и улыбаясь.

Так не мог бы вести себя Ваш секретарь, если бы таинственная преграда, затруднявшая мой доступ к Вам, существовала реально. Он должен был бы знать о ней. Я сказал ему, что какие-то люди или превратно поданные факты погубили меня в Вашем мненьи. Он возразил, что меня ложно информировали, что ничего такого нет. Это было страшной радостью для меня и большим освобожденьем.

Потому что в глубине души я знаю, как Вы ко мне относитесь, когда меня не навязывают Вам, без всяких натяжек в ту или другую сторону. И я люблю Ваш трезво-дружелюбный суд тем более, что он мне кровно близок и давно знаком. Так ко мне относятся самые дорогие люди: мой отец и старшая сестра.

Итак, Петр Петрович с редким участием расспрашивал меня о моем житье-бытье, планах и нуждах. Я предположил, и вероятно не ошибся, что то была новая волна Вашей удивительной заботы обо всем мало-мальски проявившем себя в России, коснувшаяся также и меня, и потому не отвергайте пожалуйста моей глубочайшей благодарности Вам, за себя и за всех.

---

[1] Торжественное заседание в редакции «Красной Нови» происходило 9 июня 1928 г.

[2] П. П. Крючков (1889—1938) — издательский работник, секретарь Горького.

Между прочим, перебирая всякие соблазны, П. П. назвал то самое, что является существом моей нынешней просьбы. И как жалко, что я тогда же не оформил своего желанья окончательно. Он согласился бы может быть помочь мне до отъезда, что крайне упростило бы все и ускорило, а также избавило бы Вас от чтенья длинных писем.

Все последние годы я мечтал о поездке на год — на полтора за границу, с женой и сыном. В крайности, если это притязанье слишком велико, я отказался бы от этого счастья в их пользу. Поездки же без них я и не обсуждал, за ее совершенной непредставимостью. Я хотел бы повидать родителей, с которыми не видался около 8-ми лет. Зимой 22 года я побывал в Германии, с тех пор ни разу не выезжал.

Помимо свиданья со своими, мне хочется и нужно побывать во Франции, и в Англии, может быть. И я боюсь встречи с друзьями, как боялся бы поездки к Вам, потому что тепла и веры, излившихся на меня за эти годы, ничем, ничем не возместить. Чем больше я это сознаю, тем несчастнее делает меня сознанье моей глубокой и позорной задолженности. В том, что я бессилен одариться, виноват, разумеется, я сам. Но и не я один.

Оттого-то, из весны в весну, я так долго и откладывал исполненье этой мечты. У меня начато две работы, стихотворная и прозаическая[1], мыслимые лишь при широком и крупном завершеньи, и конфузно-смешные без него или с окончаньем невыношенным и скомканным. Мне туго работалось последнее время, в особенности в эту зиму, когда город попал в положенье такой дикой и ничем не оправдываемой привилегии против того, что делалось в деревне, и горожане приглашались ездить к потерпевшим и поздравлять их с их потрясеньями и бедствиями. До этой зимы у меня было положено, что как бы ни тянуло меня на запад, я никуда не двинусь, пока начатого не кончу. Я соблазнял себя этим, как обещанной наградой, и только тем и держался.

Но теперь я чувствую,— обольщаться нечем. Ничего этого не будет, я переоценил свою выдержку, а м. б. и свои силы. Ничего стоящего я не сделаю, никакие отсрочки не помогут. Что-то оборвалось внутри, и не знаю,— когда; но почувствовал я это недавно. Я решил не откладывать. Может быть поездка поправит меня, если это еще не полный душевный конец.

Я произвел кое-какие попытки и на первых же шагах убедился, что без Вашего заступничества разрешенья на выезд мне не получить. Помогите мне, пожалуйста,— вот моя просьба. Ответьте, прошу Вас, либо сами, если урвете время (я знаю,— это бессмыслица: его не может у Вас быть, если его даже не хватает мне и товарищам в моем положеньи), либо попросите П. П. ответить мне по адр. «Ирпень, Киевского округа, Пушкинская ул., 13, мне»[2].

---

[1] «Спекторский» и роман, отдаленное начало которого опубликовано под названием «Повесть».

[2] Пастернак отправил жену и сына на лето под Киев и 14 июня 1930 г. поехал к ним сам. Горький не мог выполнить просьбу Пастернака и ответил отказом.

Надо ли говорить, в каких чувствах я пишу Вам, и как равно готов принять любой Ваш ответ, потому что с радостью признаю над собой Ваше право даже и осудить меня за желанье и быть о нем особого мненья. Но если бы Вы нашли нужным замолвить обо мне, Ваше слово всесильно,— я знаю. Будьте же моей судьбою в ту или другую сторону. В обоих случаях равное спасибо.

Ваш Б. Пастернак.

Сердечный привет П. П.

2.

4.III.33.

Дорогой Алексей Максимович!

Ну как решиться мне обеспокоить Вас? А между тем может быть у Вас явится охота и возможность помочь мне. И, говоря правду, одни Вы в силах это сделать. Вот в чем дело.

Сейчас культпроп ЦК в общем порядке (то есть не в отношении меня одного) предложил Ленинградскому издательству писателей отказаться от моего собранья. Кроме того, случилась у меня другая неприятность. С 29-го года собирал ГИХЛ (он еще ЗиФом тогда был) мою прозу, и на днях должен был выпустить. Внушили издательству, чтобы предложило само оно мне отказаться от «Охранной грамоты», входящей в сборник, под тем предлогом, что «Охранная грамота» неодобрительно была принята писательской средой, и будет не по-товарищески с моей стороны пренебрегать этим неодобреньем. Но тут ничего, очевидно, не поделать: руководство ГИХЛа само истощило все возможности в склоненьи влиятельных виновников запрещенья в мою пользу, и ничего не добилось, а я и подавно. Да и поздно что-нибудь предпринимать. 9 листов вместо 14-ти уже отпечатаны и их брошюруют. Больно мне это главным образом тем, что «Охранная грамота» показывала бы лицо автора. Из нее всякому было бы видно, что он не обожествляет внешней формы, как таковой, потому что все время говорит о внутренней, что он не оскаруальдствует, что считает он горем, а не достойным подражанья «фрагментаризмом» незаконченную отрывочность всего остального, за вычетом одной «Охранной грамоты», матерьяла сборника. А теперь ко всем этим вредным недоразуменьям будет достаточный повод.

Мне не на что жаловаться, Алексей Максимович,— в никчемности и несостоятельности всего мною сделанного я убежден горячее и глубже, чем это звучит в холодных и довольно еще снисходительных намеках критики или предполагается в сферах, куда мне нет доступа отчасти и потому, что меня туда не тянет.

Еще менее могу я жаловаться на недостаток чьей-нибудь симпатии: доброй воли поддержать меня кругом так незаслуженно много, что не будучи ни большим писателем ни драматургом, я при помощи одного расположенья издательств довольно сносно держусь в нынешней необходимости моей зарабатывать на два дома, при 7-ми иждивенцах[1], среди невозможных современных трудностей. На это ведь требуются тысячи сейчас, и со стыдом должен признаться, что я их получаю на веру. Ерунду я эту вываливаю Вам, чтобы поскорее перейти к делу, и Вы меня простите.

Я долго не мог работать, Алексей Максимович, потому что работою считаю прозу, и все она у меня не выходила. Как только округлялось начало какое-нибудь задуманной вещи, я в силу матерьяльных обстоятельств (не обязательно плачевных, но всегда, все же,— реальных) его печатал. Вот отчего все обрывки какие-то у меня, и не на что оглянуться. Я давно, все последние годы мечтал о такой прозе, которая как крышка бы на ящик легла на все неоконченное, и досказала бы все фабулы мои и судьбы.

И вот совсем недавно, месяц или два, как засел я за эту работу, и мне верится в нее, и очень хочется работать. На ближайший месяц мне и незачем ее оставлять,— пока что, можно. Но мне долго придется писать ее, не в смысле вынашиванья или работы над стилем, а в отношеньи самой фабулы; она очень разбросанная и развивается по мере самого исполненья; дополненья все время приходится вносить промеж сказанного, они все время возвращают назад, а не прирастают к концу записанного, замысел уясняется (пока для меня самого) не в одну длину, но как-то идет в распор, поперечными складками.

Короче говоря, по счастию (для вещи) ее нельзя публиковать частями, пока она не будет вся написана, а писать ее придется не меньше года. И еще одно обстоятельство, того хуже: по исполненьи ее (а не до того) придется поездить по местам (или участкам жизни, что ли), в нее вовлеченным.

Словом, это дело долгое. И большим, уже сказавшимся для меня, счастьем было то, что начал я далекую эту затею в нетронутой еще иллюзии того, что собранье мое будет выпускаться,— оно меня на этот срок или хотя бы на полсрока обеспечивало.

Алексей Максимович, нельзя ли будет сделать для меня исключенья, из тех, что ли соображений, что разнотомного собранья у меня еще не было, что (формально) первое оно у меня? Говорю — формально, потому что арифметически оно конечно собирается частью из уже ранее выпущенного частью из переиздаваемого.

Однако ряду товарищей, то же обстоятельство не помешало выхо-

[1] На попечении Пастернака была семья его первой жены, оставшейся с сыном, и новая семья: З. Н. Нейгауз и двое ее сыновей от первого брака.

дить собраньями — я не знаю, кому точно, но например Асееву и Жарову — кажется мне, но может быть я ошибаюсь. Да и не в том дело.

Алексей Максимович, я намеренно ограничиваюсь лишь просьбой этой. Я хотел Вас очень видеть истекшею весной и здорово надоедал Петру Петровичу, но ничего не вышло.

От души желаю Вам всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак

Москва 19
Волхонка 14 кв. 9

Н. Тихонову

2.VII. <19>37.

Николай,
кругом такой блеск, эпоху так бурно слабит жидким мрамором, что будет просто жалко, если ты так и не узнаешь, как мне понравилась твоя книга[1].

Я давным-давно не испытывал ничего подобного. Она показалась мне немыслимостью и чистым анахронизмом по той жизни, которою полны ее непринужденные, подвижные страницы. Было б менее удивительно, если бы она была написана лет 5 тому назад. Но теперь... Где и когда, в какие непоказанные часы и с помощью какой индусской практики удалось тебе дезертировать в мир такого мужественного изящества, непроизвольной мысли, сгоряча схваченной, порывистой краски. Откуда это биенье дневника до дерзости непритязательного в дни обязательного притязанья, эфиопской напыщенности, вневременной, надутой, нечеловеческой, ложной. Это просто непредставимо.

Книга у меня вся разобрана, но не писать же мне статью о ней, — это утомительно. Когда будешь тут, наведайся, — поговорим, если тебе интересно.

Когда стихи появлялись в отдельности, они мне нравились, но без слез и испуга. Они занимали один из этажей «Знамени», и было приятно, что «Знамя» стоит, лифт работает, и все этажи целы. Я не предполагал, что в творческой своей субстанции они взовьются таким столбом, что они так из ряду вон и так неожиданны.

Разумеется «Кахетинским стихам» легче жить на свете. В этом нет ничего удивительного. Они (как и мое «2-е рожд<ение>») из категории тех стихов, которые затем и рождаются, чтобы нравиться, привлекать и, в результате всего, жить припеваючи. Менее всего неумышленны ночные серенады. Для этого жанра не последнее дело, чтобы в конце

[1] Н. Тихонов. Тень друга. 1936.

концов кто-то выглянул в окно. Так бьет без промаха поэтичность самой поэтичности.

Совсем другой коленкор «Тень друга». Здесь положенье драматическое, а не мадригальное. И пусть это тебе не понравится, я, по-своему, ценю его выше.

Здесь море, природа, война, путевые наблюденья, радости самого путешествия и все предметы изображенья без стесненья сунуты в боковой карман по-современному сшитого костюма, а отсюда — на стол рабочей комнаты в какой-то, наперед облюбованный период, отданный работе и во всей естественности вдохновенный. Поэзия налицо тут в эксцессах замкнутости, в здоровой лихорадке одиночества и дьявольщине писанья: этого не приходится придумывать, взвинчивать и романтизировать. Также очень хорошо, что это протекает без ежеминутных грошовых восторгов и пересудов, и что при этом совсем нет женщин. Именно совокупностью этих признаков, которые когда-то считались обязательными для каждого прокладывавшего свои пути в искусстве (а чем другим может быть художник?), и показалась мне книга какою-то белою вороной на нынешнем эпигонском горизонте.

Сейчас все полно политического охорашиванья, государственного умничанья, социального лицемерья, гражданского святошества, а книга живет действительной политической мыслью, деятельной, отрывающейся вдаль, не глядящейся в зеркало, не позирующей.

Видно, как все возникало. Кувыркающаяся мешанина моря, целый ночной мир движенья, изнизанного чайками и мыслями. Видно, как естественно, повествовательною вылазкой воображенья домышлена тихая картина станционного захолустья, увиденного на остановке (ряд рассказов так Чеховым написан), в «Воскресенье в Польше». Очень схвачены все краски, особенно парижские. Самым лучшим стихотвореньем книги кажется мне «Самофракийская Победа». Оказывается, дифирамбизм мыслим, и в редких случаях истинности он не форма красноречья, а нравственно пластическое осязанье, опьяненно точное. Наверное всех умиляет «Кот-рыболов», но это не для меня. Единственно слабой страницей книги кажется мне единственная в ней декларационная; та, в которой ты с неуместной, страшно сейчас распространенной торжественностью обещаешь «Стихом простым я слово проведу» и не сдерживаешь обещанья. Вся книжка читается легко, лишь эту <страницу>, в которой ты подымаешь какую-то дароносицу (какую именно, не видно), мне пришлось перечесть дважды и «вдумчиво», чтобы сообразить, в чем тут дело. Книга такая, что ты вправе играть Верленовским заглавьем («Бельг<ийские> пейзажи»), Блоковскими интонациями, вообще, вступать в крупный, разбросанный разговор. Почти все хорошо, больше половины. Оч<ень> хороши «Птица», «Легенды Европы», «Противогаз».

Письмо залеживается. Единственный способ не утаить его от тебя — это отправить его неконченным. От души тебя поздравляю с «Тенью». Я не сумел представить тебе свои ощущенья так, чтобы они тебя

заинтересовали и убедили. Прощай. Будь здоров. Привет Марии Константиновне[1].
Твой Б.

Е. М. Стеценко

8.II.41.

Дорогая Елизавета Михайловна!

Горячо благодарю Вас за письмо, за Ваши слова о Жене и Лене, за все, за все.

Вы должны были догадаться, что если на такое письмо, как Ваше, от кого бы то ни было, даже от совершенного животного, не последовало тотчас же ответа, должно было случиться нечто непредвиденное и чрезвычайное, что этому помешало. Почти весь январь я был занят кропотливой и головоломной работой той степени срочности и неотложности, которая одной уже этой болезненностью «темпов» должна была бы наводить на подозренье, как нечто аффектированное, выдуманное и ненужное. Но этим видом деятельности, напоминающим припадок истерии или умопомешательства придают серьезность несуществующим сторонам жизни, и в этом назначение большинства учреждений, объединений и т. д. и т. д. По требованию издательства я должен был совершенно переделать Гамлета в духе, нелепом, неприемлемом, спорном и никому не нужном. Если бы меня к этому побуждало только давление обстоятельств, я бы может быть не поддался. Но я согласился как под хлороформом, оглушенный отвращеньем. Мне так смертельно не хотелось и не следовало слушаться, что я подчинился. Около месяца я коверкал и портил — плохо ли, хорошо ли, но однажды уже сделанное, лишился сна, перемарал корректурные листы до полной неудобочитаемости и пальцами, разъеденными от красных чернил, подал плод этих трудов кому и куда нужно. Тут же я узнал, что с красных чернил не набирают, потому что это цвет высшей, неавторской окончательности и пурпур присвоен цензуре, так что всю мою работу будут переписывать сызнова и по-новому перевирать. Когда же ее перезеленили (работа нескольких машинисток, стопы исписанной бумаги на столах), в издательстве пришли к заключенью, что я был прав, раньше лучше было и они восстановят прежний текст. Ну что Вы скажете, Елизавета Михайловна! Ну как не выкатываться после этого на тротуар в падучей?

Дорогая Елизавета Михайловна, когда я читал Ваше святое, полное забот о детях, об Авиновой[2], обо всем на свете горящее, одухотворен-

---

[1] М. К. Тихонова-Неслуховская.

[2] М. Ю. Авинова — писательница и переводчица, приятельница Е. М. Стеценко.

ное письмо, я думал, как хорошо, что на свете есть помехи и препятствия и «бремена» и гири, а то сердца такого выдающегося совершенства, как Ваше сгорали бы разом при первой жертве собой и мигом подымались бы к небу. Их обществом мы, таким образом, обязаны неустройствам и трудностям жизни. Вот Вам и оправдание зла, которое так не удавалось Лейбницу.

Марии Юрьевне надо знать следующее:

1) Моим именем она может пользоваться где и как ей заблагорассудится потому что в любом положении, полезном ей, такая ссылка (ничего mot не правда ли?) будет соответствовать истине.

2) Всюду о ней сказано. 2-я половина XIX века в Учпедгизе с Эйхенгольцем предположенье еще очень далекое. Планы хрестоматии еще не рассматривались и не утверждены, то есть еще не образовалось и неизвестно, образуется ли дело, участие в котором ей, наверное, обеспечено.

3) Маршака нет в Москве. По этой же самой антологии не все у меня самого обстояло с Маршаком блестяще,— но это к делу не относится. Я говорил с заместительницей Маршака, от которой узнал следующее. Они работу М. Ю. видели и отнеслись одобрительно и до моих похвал (я им рассказал о вещах, которые читал в позапрошлом году). Через месяц, по возвращении Маршака работы по собиранию материала возобновятся. Наверное переводы М. Ю. войдут в сборник. Они собираются заказать ей сами что-нибудь по своему выбору. Это было сказано в ответ на мои слова о денежной реализации сделанного. Я им еще раз об этом напомню. Указала ли М. Ю., как же с нею сноситься?

Не удивляйтесь что я неожиданно оборву письмо. Вам давно уже верно некогда читать его. Моя мечта показать Вам когда-нибудь Леничку[1]. Целую Ваши руки и еще раз за все благодарю. Привет от всего сердца Ипполиту Васильевичу[2].

Крепко Вас любящий и преданный

Б. П.

А. Л. Пастернаку

22.III.42.

Дорогой Шура! У меня руки опускаются при мысли, что писать тебе все равно, что бросать письма в Лету и что от тебя как от козла молока. Поэтому я ограничился открыткой, но ведь сердце не камень: мне надо так много сказать тебе!

---

[1] Леничка — сын Б. Пастернака.
[2] И. В. Стеценко — муж Елизаветы Михайловны.

Ваше существование я рисую себе в самых черных и подходящих красках, и каждую ночь дрожу за вашу жизнь. Эти ужасы холода и голода, это ужасно, да и только ли это одно! Я знаю, что кроме конца и гибели практически ничего ждать нельзя,— кто же мог думать, даже в самые страшные минуты, что тупоумие так кристаллически верно себе, так минерально непреходяще и настолько прочнее золота и бриллиантов! Я знаю, что ни о чем разумном нечего думать, и самые здравые заботы перед лицом нелепости безсмысленны. Но главные мои заботы тоже безумны и лишены логики, как и подстерегающая нас фатальность. Эти заботы — папины вещи. Разумеется я не смею мечтать об их сохранеиьи, это было бы чудом, моя мечта скромнее, я желал бы для них достойного конца без унижения. Мне хотелось бы, чтобы их лизнул язык чистого огня, а не ночной факел говночиста. Когда в числе картин, увезенных из Я<сной> П<оляны> оказалась копия папиной «Наташи на балу» это было таким удовлетворением, а вот что наверное все в Переделкине погибло в немудреных руках освободителей человечества, осененных еще более гениальной орифламмой, это позор и горе, и с нашей стороны это непростительно. А это верно так, судя по тому, что Павленковскую библиотеку в числе многих тысяч томов раскурили, а Ивановскую дачу сожгли. Если бы тебе когда-нибудь посчастливилось попасть туда, надо поехать с Еленой Петровной[1] и захватить с собою денег на разные чаи. Там осталась Жоничка в платьице, обрисовкой которому служит чистый серый пробел картона, там из сундука, прикрытого гвоздем, пропущенным через ушки замка и накладки, надо взять все папины масляные этюды. Может явилась бы возможность, если это еще сохранилось, снести все это в одно место к Геннадию Александровичу Смирнову[2] или еще как-нибудь отделить от расквартированных в даче частей. Там в чулане — связка литографий «Толстой за работой» между двумя фанерами. И всюду рассовывай деньги, я еще пришлю их тебе: эти произведения, следы этих рук все-таки высшее, что мы видели и знали, это высшая правда нас самих, меня и тебя, незаслуженно высокий вид благородства, которому мы причастны, это наше дворянство: надо позаботиться о его достойном погребении. Но Переделкино далеко и трудно: я успел увезти только часть, а остальное бросил на волю божью; может быть чудом это и сохранится. А вот в Москве все из Лаврушинского надо перевезти к тебе или на квартиру к Жене. Там на 9-м этаже в моей комнате шкап полный книг. Ты знаешь как это может быть дорого писателю. Многое я приобретал потом не жалея денег. И вот можешь бросить это все или возьми себе, для Феди. Но сундучки с папиными записными книжками (между стеной и шкапом), папку с большими картонами и все, что там есть папиного, надо оттуда вывезти, потому что квартиры займут, и займут варвары. Это не дача, это

[1] Е. П. Кузьмина — домашняя работница Е. В. Пастернак и друг семьи.
[2] Директор городка писателей в Переделкине.

в пределах человеческих сил: бери в помощницы Петровну, если мало, я спишусь с другими и достану тебе помощников.

Знаешь ли ты что-нибудь о папе? Живы ли тетя Ася и Оля? Что известно о Коле и куда ему писать? Когда наконец ты или Ирина напишете несколько человеческих слов о себе и детях!

Теперь несколько слов вкратце о нас. На одной из улиц, считающихся центральными, живем отдельно: в доме № 75 — я, в доме № 63, где помещается Детдом Литфонда — Зина и Леничка, еще ниже в Доме крестьянина, Стасик со старшим интернатом Литфонда. Леничка туповатый молчальник вроде Стасика, милый дичащийся малый, в котором я души не чаю и которого вижу очень редко. Жил я разнообразно, но в общем прожил счастливо. Счастливо в том отношении, что (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) насколько возможно, я старался не сгибаться перед бытовыми неожиданностями и переменами и прозимовал в привычном труде, бодрости и чистоте, отвоеванных хотя бы у крестьянского хлева. Меня в эт<ом> отношении ничто не останавливало. Три дня я выгружал дрова из баржи и сейчас сам не понимаю, как я поднимал и переносил на скользкий берег эти огромные бревна. Надо было, и я чистил нужники и наколол несколько саней мерзлого человеческого кала. Я тут бреюсь каждый день, и круглый день в своей выходной черной паре, точно мне все это снится, и я уже и сейчас испил это все до дна и нахожусь где-нибудь в Парк-тауне. То вдруг в столовой подавали гуляш из баранины (хотя суп представлял подогретые помои), то там принимались кормить неочищенными конскими внутренностями,— я это называл гуляшем из конюшни, то вдруг все прекращалось и я недели существовал кипятком и черным хлебом, то — о чудо! — меня принимали на питание в интернат,— то столь же неожиданно с него списывали,— но как бы то ни было, это, по счастью, никогда не достигало остроты бедствия. Никогда это не омрачало мне дня, никогда не затмевало мне утреннего пробуждения с радостной надеждой: сегодня надо будет сделать то-то и то-то,— и благодарного сознания, что бог не лишил меня способности совершенствовать свое старанье и одарил чутьем того, что именно есть совершенство. Я перевел тут и отделал «Ромео и Джульетту» именно в том духе и вкусе, как мечтал и задумывал, теперь сделаю избранного Словацкого,— работу неизмеримо менее интересную, и два больших заказа, которые я привез сюда,— исполнены. Как я уже писал тебе, очень вероятно, что я постараюсь скоро попасть в Москву. Но в Нижнем Уфалее на Урале лежит, и видимо, неизлечимо угасает Адик[1] с ухудшившимся туберкулезом ноги и новым туберкулезом позвоночника. Надо будет обязательно к нему съездить, это сильнейшее мое желанье. Как совместятся и разместятся эти поездки будет еще видно.

[1] Адриан Нейгауз — старший сын Зинаиды Николаевны Пастернак скончался в 1945 году.

Несказанно облегчает наше существованье та реальность, которую мы здесь впятером друг для друга составляем,— я, Федин, Асеев, Тренев и Леонов. Нам предоставлена возможность играть в Союз писателей и значиться его правленьем, и так как душа искусства более всего именно игра, то давно я ни себя, ни Леонова и Федина не чувствовал такими прирожденными художниками, как здесь, наедине с собой за работой, в наших встречах и на наших литературных собраньях. Мы здесь значительно ближе к истине, чем в Москве, где в последние десятилетья с легкой руки Горького всему этому придали ложную серьезность какой-то инженерии и родильного дома или богадельни. В нравственном отношении все сошли с котурн, сняли маски и помолодели, а физически страшно отощали и некоторые, как напр. Федин, прямо пугают своей болезненной худобой.

Женя живет в Ташкенте в одном доме с Ивановыми (семьей Всеволода Иванова). Некоторое время им было трудно, а теперь стараньями Ивановых и Чуковских все улажено. Женек недавно поступил в Военно-инженерную академию. Я Вас очень прошу передать мои приветы всем кто мне дорог и кто придет вам на память: всем Вашим, Зине и Анне Федоровне, Ольге Александровне (здорова ли она?), Эттингеру (жив ли он?), Елене Петровне, Милице Сергеевне[1], Асмусам, всем, всем. Напишите мне искренне, Вы, Ирина, и ты, Шура, что между нами произошло и в какой вы на меня обиде,— Ваше молчанье уму непостижимо! Не собирайся долго отвечать мне, Шура, а поезжай за сундучком в Лаврушинский и напиши мне о себе и делах прямо и основательно. Крепко, крепко Вас целую.

Ваш Боря

В. В. и Т. В. Ивановым

8.IV.42.

Дорогие Всеволод, и Тамара Владимировна!

Сегодня я окончил вторую заказную работу (перевод избранного Ю. Словацкого) и хотя это черновик, требующий отделки, решил отдохнуть и весь день доставляю себе удовольствия. Я расчистил дорогу к сараю, заваленному снегом до крыши, сходил на почту отправил Адику деньги, прозевал раздачу хлеба и остался на бобах (какое неподходящее выраженье! Кто бы не согласился испытать его фигуральность в грубей-

[1] А. Ф. Вильям — мать Ирины Николаевны; О. А. Айзенман — ученица Л. О. Пастернака; М. С. Нейгауз — жена Г. Г. Нейгауза; П. Д. Эттингер — друг Л. О. Пастернака.

шей дословности?). Пока я не взялся снова за работу, я хочу написать Вам и Жене.

Повода два. Мне хочется сообщить Вам одну радость, и посоветоваться с Вами и Всеволодом насчет одного дела. Итак сначала первое.

Леонов прочел нам новую замечательную пьесу, неподдельную и захватывающую почти на всем протяжении, кроме обычного и немого казенного конца[1]. Действие в городке за несколько часов до занятья неприятелем и во время занятия, угловатые и крупные характеры, предательства «метаморфозы», странные и отталкивающие загадки с непредвиденно высоким разрешеньем, мертвецы, бывшие люди, немецкое командованье, все выпукло, близко, отрывисто и страшно, и какой-то не свой, комитетский конец, неправдоподобный не по благополучию победоносного исхода, а по душевной незначительности, которой он обставлен, в особенности после такой густой и горькой вязи, как в начале.

Между прочим после чтенья, из отчета Живова в «Литературе и Искусстве» (кто-то принес с собой газету) мы узнали о Толстовском Грозном[2]. Это немного отравило радость, доставленную Леоновым. Все повесили головы, в каком-то отношеньи лично задетые. Была надежда, что за суматохою передвижений он этого не успеет сделать. Слишком оголена символика одинаково звучащих и так разно противопоставленных Толстых и Иванов и Курбских. Итак ампир всех царствований терпел человечность в разработке истории и должна была притти революция со своим стилем вампир и своим Толстым и своим возвеличеньем бесчеловечности. И Шибанов нуждался в переделке[3]! Но это у Вас все рядом. Вы наверное другого мненья, и Всеволод мне напишет, что я ошибаюсь. Я же нахожу это поразительным, как поразительны и Эренбург и Маршак, и не перестаю поражаться.

Мне представляется необъяснимой и недоступна эта слепая механическая однонаправленность при сжатьи и разжатьи, как в машинках для стрижки, это таинственное расположенье рёзаков, которое толкает вперед рывками и захватами, независимо от того, говорят ли наблюденья за или против, и окружены ли вы светом или тьмой. Эта неспособность оглянуться на себя и свое! Или это гениальные бессмертные комики, и мы не умеем прочесть их эзоповской иронии и окажемся в дураках, принимая все за чистую монету? Но простите, это — пустословье, я заговорился.

Теперь другое. Вот о чем я хотел посоветоваться. Здесь становится голодновато. Время передвижений, произойдут перемены и перемещения. Может быть следует подумать и что-то предпринять. Зина стала подумывать о переезде нас всех к Вам в Ташкент. Эта мысль укореняет-

---

[1] «Нашествие».

[2] Пьеса А. Н. Толстого «Иван Грозный».

[3] «Василий Шибанов» — баллада А. К. Толстого о после А. Курбского, убитого Иваном Грозным.

ся в ней все глубже, я же пока ее и не обсуждал, таким она мне кажется неисполнимым безумьем. Прежде всего меня пугает переезд. Ничего ни в Москве, ни в Можайском направ<лении> я так не боялся, как железнодорожной сыпнотифозной вши. Во мне утвердилось представленье, что это нас не минует. Потом не кажется, что каким-то ходом личных настроений и событий мы на лето будем так же разлучены с Вами, женами и семьями, как прошлый год, и при этом условии мне хотелось бы Зину и детей оставить в знакомом и изученном месте, благодаря множеству положенных усилий приобретшему характер лагеря или стана. Даже заикаться об измене Чистополю значит колебать выдержку других колонистов расшатывать прочность самой колонии. Я знаю, что отъезд двоих или троих из нас с семьями на Восток потянул бы за собой остальных, а разъезд нас, верхов и головки, сделал бы гадательным существованье интерната и детдома, и все развалилось бы. Итак, нужно ли и мыслимо ли перевозить оба дома Литфонда в Ташкент, для того, чтобы я и Зина позволили себе это в отношении Стасика и Лёни? Здесь довод личный и общий совпадают и делают этот вопрос в моих глазах праздным и неосуществимым. И хотя это так, все же, если у Вас будет время, напишите мне свои соображения на этот счет, цены предположительные продовольственные виды на будущее, размеры эпидемии у Вас, вероятный и предположительный тип нашего поселенья, моего заработка, бытового устройства и т. д. и т. д.

Простите, что заканчиваю неряшливо и второпях. Если будете писать о Ташкенте, будьте трезвы и объективны,— Простите за самонадеянность, но я верю, что с разной силой, но одинаково искренно Женя, Вы и Погодины были бы нам рады в Ташкенте, но дело не в этом.

От души всего лучшего Вам со Всеволодом, детям, Марусе и всем знакомым.

Ваш Б. П.

Е. В. Пастернак

16.IX.42.

Дорогая Женя! Получил твое письмо, спасибо. Действительно, я не писал вам вечность.

Зина ездила к Адику. Ему наверное придется все-таки отнимать ногу ниже колена. В то же самое время выпустили на свободу Генриха Густавовича[1]. Они встретились в Свердловске, где он наверное будет преподавать в консерватории. Но Адика Гаррик еще не видал, это часах в трех от Свердловска, и я не знаю, насколько он располагает свободой.

[1] Г. Г. Нейгауз (Гаррик) был арестован в октябре 1941 г.

Наверное на днях я поеду в Москву. Мне туда совсем не надо и не особенно хочется. Но прошлой осенью у меня были силы для проведения своей линии. Я обольщался насчет товарищей. Мне казалось, будут какие-то перемены, зазвучат иные ноты, более сильные и действительные. Но они ничего для этого не сделали. Все осталось по-прежнему — двойные дела, двойные мысли, двойная жизнь. В такой безоружности протянуть в чистопольской бабьей пошлости еще зиму будет трудно. Вот отчего я еду. Но как раз сейчас что-то могло бы меня и удержать.

Я тут около года. Я провел его очень производительно. Перевел «Ромео и Джульетту», избранный томик польского поэта Словацкого и начал драму. Я подписал договор на сочиненье современной оборонной пьесы в прозе. Контракт определил ее содержание. Уже подписывая его, я проговорился, что буду писать вещь по-новому, свободно. Я и в дальнейшем не делал из этого тайны. Но я увлекся и зашел в этом направлении довольно далеко. Вещь едва ли будет предназначена для печатанья и постановки. Это окончательно развязало мне руки. Современные борзописцы драм не только врут, но и врать-то ленятся. Их лжи едва-едва хватает на три-четыре угнетающе бедных акта, лишенных содержанья и выдумки. В этом отношении Тренев написал тут вещь до ужаса слабую и Федин, человек, которого я любил и наверное люблю больше всех на свете, после поразительных воспоминаний о Горьком написал четырехактную пьесу с мертвыми словами и страстями, содержанье которой может уместиться в спичечной коробке. Только Леонову, благодаря безмерности его дарованья удалось написать талантливую и блестящую неправду, которая очаровывает на протяжении всей завязки и разочаровывает только к концу.

Исходя из этих наблюдений, а также из сознанья практической беспомощности моего труда на ближайшее время, я решил не стеснять себя размерами и соображениями сценичности и писать не заказную пьесу для современного театра, а нечто свое, очередное и важное для меня, в ряд прошлых и будущих вещей, в драматической форме. Густоту и богатство колорита и разнообразие характеров я поставил требованьем формы и по примеру стариков старался черпать из жизни глубоко и полно. Рано говорить о том, насколько я со всеми этими намереньями справлюсь. Я написал первый акт этой сложной четырех или пятиактной трагедии. Он в четырех длинных картинах со множеством действующих лиц и сюжетных узлов. Драма называется «Этот свет» (в противоположность «тому»), ее подзаголовок «Пущинская хроника». Первая картина — на площади перед вокзалом, вторая в комнате портнихи, из беспризорных, близ вокзала, третья в бомбоубежище этого дома, четвертая — картофельное поле на опушке Пущинского леса в вечер оставления области нашей армией.

Пока вещь не дописана вся, не говори о ней пожалуйста никому. Я хочу попробовать продолжать ее в Москве. Не знаю, насколько это будет выполнимо. Сейчас, издалека, ни с кем не списавшись и не проверив

на месте, предполагаю поселиться у тебя, если позволит состоянье комнаты и Елена Петровна согласится мне помогать. На всякий случай вот вам адрес Асмусов: Москва, Зубовский бульвар 16/20 кв. 45. Как только установится мой собственный, я тебе сообщу. По-видимому зимовка в Москве будет не легче Ленинградской. Если по приезде выяснится, что осесть и обосноваться с надеждою поработать немыслимо, я вернусь в Чистополь. Перевожу тебе тысячу рублей. Как только достану в Москве, переведу столько же. Зина, Леня и Стасик остаются в Чистополе. Крепко тебя и Женичку целую. Спасибо ему за открытку, я кажется на нее не ответил. Ваш Боря. Если я Вас сейчас поздравлю телеграммой с его рождением, она к 23-му не дойдет, об этом надо было подумать раньше. С тем большей силой желаю вам обоим всего лучшего.

Жозефине и Лидии Пастернак

<декабрь 1945 г.>

Дорогие Жоня и Лида!

Отчего у Вас ни слова о Феде[1], о самих себе, о ваших домах и детях? Спасибо за твою «Spring»[2], Лида. Молодчина! Много ли ты этим занимаешься? Я несколько раз запрашивал об Алеше, Степе и Эне[3], живы ли они? Не удивляйтесь моему треску. Для краткости я буду стрелять фразами.

Собственно главные помехи, отчего не пишешь, не слабость слов и ограниченность сил, не строгости цензуры. Всю жизнь я жил как бы для родителей и для вас, как бы на виду у вас и для вашего удовлетворенья.

Но вот папу и маму я прозевал. Приехать к вам и повидать вас в Англии было бы для меня не только высшим счастьем. Я думаю, тогда-то именно, при этом свидании, моя жизнь сделала бы те несколько последних шагов вперед, которых ей все время недостает. Тогда-то лишь, после этого я бы понял, что мне надо вам сказать самого живого, наболевшего и важного, свидание дало бы эти выводы. То, что их нельзя предугадать и не хочется искусственно подделывать, — вот что делает малоценной или невозможной переписку.

Папа! Но ведь это море слез, бессонные ночи и, если бы записать это — томы, томы и томы. Горько, что письмо мое через Майского[4] не дошло тогда. Там я высказал ему разом (как однажды Рильке) все что

[1] Ф. К. Пастернак — муж Жозефины.
[2] «Spring» — стихотворение Лидии Пастернак.
[3] Австрийские родственники Пастернаков погибли в нацистских лагерях.
[4] И. М. Майский — посол СССР в Англии.

у меня к нему накопилось в течение всей жизни, в особенности за последние годы. Удивленье перед совершенством его мастерства и дара, перед легкостью с какою он работал (шутя и играючи, как Моцарт), перед многочисленностью и значительностью сделанного им,— удивленье тем более живое и горячее, что сравненья по всем этим пунктам посрамляют и уничтожают меня. Я писал ему, что не надо обижаться, что гигантские его заслуги не оценены и в сотой доле, между тем как мне приходится сгорать от стыда, когда так чудовищно раздувают и переоценивают мою роль, наполовину мифическую, зиждущуюся на нескольких, очень немногочисленных, отрывочных и бесформенных пустяках, в большинстве несостоятельных и мною осужденных (это постоянный мой спор с аудиториями и молодежью, которая отстаивает «Сестру мою жизнь» и «Темы...», не проникаясь моими доводами, почему это плохо).

Я писал папе, что в нашей жизни не случилось никакой несправедливости, что судьба не преуменьшила и не обидела его, что в конечном счете торжествует все же он, он проживший такую истинную, невыдуманную, интересную, подвижную, богатую жизнь частью в благословенном своем 19-м веке, частью в верности ему, а не в диком, опустошенном нереальном и мошенническом двадцатом, где на долю мне вместо всего реального, чем он был окружен, вместо его свободы, плодотворной деятельности, путешествий, осмысленного и красивого существования достались одни приятные слова, которые я иногда слышу и которых не заслуживаю. Да кстати. Все эти годы о папе, наверное в силу политической подозрительности и не заикались. Совершенной неожиданностью поэтому был некролог Грабаря (глупые неправильности, встречающиеся у него понятны и простительны), который я прилагаю. Другое замечанье. Только что мне дал свое письмо к вам Шура, и я не буду касаться им затронутых вопросов, чтобы не повторяться. Не делайте себе из собрания папиных работ, оставшихся у вас, лишних забот.

Если выставка в Лондоне осуществима легко и просто в вашем и в общечеловеческом тоне, тактично и благородно, без каких-либо запродаж души черту и расписок кровью в этом или каких-нибудь дополнительных трехкопеечных фанфар,— устраивайте выставку. Если нет, не тужите и не чувствуйте себя виноватыми перед людьми и папиной памятью. Это не уйдет даже в том случае, если я ошибаюсь насчет своего или вашего долголетия или если вера моя в то, что я соберусь к вам,— самообман. Ни в коем случае ничего пока не пересылайте. Замечательна судьба моя с папиными вещами. Больше десяти лет вследствие тесноты в городе я держал в сундуке (он весил 15 пудов) и папках его черновой архив: школьные рисунки углем, эскизы к эскизам, масляные его этюды за всю жизнь, с первых лет, некоторые готовые работы, и терзался, что все это лежит под спудом, ни себе ни другим. Только перед самой войной, весной 1941 года, когда стало немного легче, я на даче (некоторые, счастливые зимы я проводил с Леничкой на даче) я разобрал сундук, отобрал много замечательного и со страшным трудом

(все практическое, материальное у нас почти невыполнимо) дал застеклить и обрамить и покрыл стены у себя за городом и в городе этими красотами. Это продолжалось только несколько месяцев. Когда начались налеты и Зина с детьми уехала в Чистополь (Казанск. губ.), для меня стал вопрос, где сосредоточить картины, чтобы предохранить их от бомбежки (в сентябре Москву бомбардировали каждую ночь). Третьяковскую, куда легко было бы перенести вещи на руках (я живу напротив), эвакуировали и она отказывалась принимать вещи со стороны. Предлагал свои услуги Толстовский музей, но в эти дни октября, когда фронтом стала наша дачная местность, нечего уже было мечтать достать машину и вещи не на чем было перевезти. Все же я всякими правдами и неправдами разместил в трех местах (чтобы понизить шанс гибели) отобранные и висевшие у меня работы. В одном, на пустующей и покинутой Жениной квартире (она уехала в Ташкент) большая часть их уцелела, а на даче и в городской квартире все сгорело или уничтожено. Вообще у нас (и в особенности у меня) скорее все тает, изнашивается и пропадает, нежели появляется или доступно приобретенью. У меня очень легкий вещевой багаж, как у студента, несмотря на старость и присутствие детей. Да, за месяц до папиной смерти, мы похоронили старшего Зининого сына Адриана, 20 лет, умершего от костного туберкулеза, которым он проболел всю войну в больнице. Жизнь такова, что не чаявшая в нем души мать, зная, что это последние дни и считанные минуты, разрывалась между Сокольниками (больницей) и Переделкиным (нами и дачей) и ездила к нам вскапывать картофельные гряды накануне его агонии, чтобы не упустить горячей огородной поры. Да, так я говорю у нас обстановка очень несложная. Я не храню ни черновиков своих, ни писем, у меня почти нет библиотеки. Когда зимой я уезжал к Зине в Чистополь я часть родительских писем оставил на квартире у Жени (они сохранились), а лучшее из своей переписки (другую их часть и кое-какие письма Горького, Роллана и др. и все (около 100) писем Марины Цветаевой (в 1941 году она повесилась в Елабуге, в эвакуации,— у меня есть стихи к ней, я их прилагаю). Так вот этот отбор я дал на сохраненье знакомым девушкам студенткам в Скрябинский музей. На днях я узнал, что одна из них, преданнейший мне человек и поклонявшаяся Марине возила их всегда с собою, и не расставалась с ними, чтобы они не пропали, и три месяца тому назад, возвращаясь в страшной усталости из Москвы в Болшево, где она живет, по рассеянности оставила не то в вагоне поезда, не то в лесу под елью, где отдыхала. Вот тебе судьба вещей рядом со мной или вокруг меня. (Какая механичность обращенья: я пишу вам обеим и все время говорю ты, тебе, попеременно представляя себе то тебя, Лида, то Жоню!). Теперь несколько слов совсем о другом. Конечно для меня более, чем радость,— священное какое-то счастье, что пусть случайно и по ошибке доброжелателей я попал в общество имен, которые мне были в жизни дороже всего,— Рильке, Блока и Пруста. Нахождение мое в этой атмосфере

естественно и закономерно. Для меня большим утешением в суровой моей судьбе были ваши персоналисты вокруг Transformation, я их близко не знаю и в особенности как о художниках ничего не могу сказать, но общий духовный рисунок что ли братства, идейное его очертанье, те стороны какими в нем присутствуют символизм и христианство (мне у них больше всего нравятся статьи, было несколько очень хороших статей Рида и хорошая статья Шиманского «В бомбоубежище»),— все это удивительно совпадает с тем, что делается со мной, это самое родное мне сейчас, самое нагретое место на холодной стене, отделяющей меня от вас. Я знаю, что это не английская печать или литература, не заметное что-нибудь в области английского общественного мненья, что они, Bowra с его поразительными переводами и глубокими, увлекательно написанными книгами о символистах и об эпической поэзии, журнал Horizon и два—три человека при университетах ничего не значат, что это крошечный уголок. Но вот именно этот уголок, который я для простоты называю Англия, затем молодежь в России и, в-третьих, Грузия — это три точки чудодейственного какого-то, необъяснимого моего соприкосновенья с судьбою и временем, это мистерия или роман, который мог бы дать много пищи для суеверья, так тут все непредвосхитимо сказочно. Это концертные залы, которые я наполняю по афише, когда каждое место любого стихотворенья, когда я замедлюсь, мне подсказывают с трех или четырех концов, это встречи и письма, которые я всю жизнь получаю и это грузинская интеллигенция и искусство на Кавказе, на котором я 12 лет не был с последней поездки туда и куда недавно, в октябре, слетал на 2 недели. Это что-то вроде вашей Шотландии, гор, баллад, рыцарской открытости, барабанов с волынкой, целонощных пиров с речами до утра и замечательного вина в каждой семье из своих виноградников, как у нас — своя картошка. Мне 55 лет, у нас трезвое холодное советское время, я не восторженная барышня,— я не представлял себе, что это все еще возможно: из 14-ти суток, которые я там был, я спал только 2 ночи. Я не понимаю, как я выдержал это упоительное всерастворенье себя в других и других в себе и не заболел.

Интересно, что эта стихия немножко жертвенного, необъяснимого успеха, этого чуда взаимопониманья и отдачи себя, всегда налицо, всегда где-то рядом подстерегает меня, и казалось бы чего лучше отдаться бы ей на всю жизнь без перерыва. И удивительно, что я очень-очень редко позволяю себе пользоваться ей и целыми годами, если не десятилетиями отказываюсь от выступлений. Но я начинаю забалтываться. Надо сокращать письмо.

Наверное я напишу Бауре и Шиманскому. Мне неудобно им писать по-русски, а сделать это по-английски потребует времени. Помимо симпатии и пожелания ему удачи, которые Шиманский вызывает во мне как проводник идей, близких мне и дорогих, он сделал неизмеримо и незаслуженно много для меня (я боюсь, не слишком ли много) и тем навсегда обязал. Я страшно рад книге прозы и интереснейшему его вве-

дению, и только две вещи омрачили эту радость (в этом смысле я сказал, не слишком ли много). Правда, он оговаривает во вступлении, что если бы я был причастен изданию, я бы может быть иначе распорядился материалом и т. д. Но, значит: 1) Меня огорчило, что наряду со стоющими Охранной грамотой (и то в ней есть куски манерные, непонятно выраженные, которое можно было выбросить) и Детством Люверс перевели и напечатали ужасные Апеллесову черту, Письма из Тулы и Воздушные пути, которых я так не люблю, что боюсь и хотел бы забыть. 2) Мне кажется, что книга должна оттолкнуть еще и нескромностью своего внешнего вида. Неужели издателям не показалось бестактным давать восьмилетнего красавца босиком[1], многократной ретушью до неузнаваемости доведенных меня и Маяковского, карикатуры Кукрыниксы? Конечно и в том и другом случае виноват я, что не такой Аполлон, но надо ли было меня раздевать в таком случае до таких пределов? Мне кажется (и это так закономерно, что не потрясет и не убьет меня), что ближайшим действием этой книги, а потом и стихов в переводе Cohen'а (или это будет собрание коллективных переводов? — Bowra'вские очень хороши) будет то, что я буду со скандалом разоблачен, как невольный самозванец (а король-то гол). Но опять-таки это вина не авторов критических статей и переводчиков, и не моя только исключительно вина. Это аномалия в развитии художественных судеб и деятельностей нашего времени даже и на западе, не только у нас. Все теченья после символистов взорвались и остались в сознании яркою и может быть пустой или неглубокой загадкой. Последним творческим субъектом даже и последующих направлений остались Рильки и Прусты, точно они еще живы и это они опускались и портились и умолкали и еще исправятся и запишут. Что это сознают объединенья вроде персоналистов, в этом их заслуга. Это же сознание живет во мне. Вот что у меня намечено. Я хотел бы, чтобы во мне сказалось все, что у меня есть от их породы, чтобы как их продолженье я бы заполнил образовавшийся после них двадцатилетний прорыв и договорил недосказанное и устранил бы недомолвки. А главное, я хотел бы как сделали бы они, если бы они были мною, т. е. немного реалистичнее, но именно от этого, общего у нас лица, рассказать главные происшествия, в особенности у нас, в прозе, гораздо более простой и открытой, чем я это делал до сих пор. Я за это принялся, но это настолько в стороне от того, что у нас хотят и привыкли видеть, что это трудно писать усидчиво и регулярно. Одно хотел бы я, чтобы дошло до вас. Недоуменье, которое должны вызывать такие собранья, как мои у вас я не только разделяю, но сам больше всех чувствую. И если я поживу еще немного и поработаю все это разъяснится и будет восполнено. Во всяком случае, если я не напишу им особо и вы с ними знакомы, поблагодарите горячо и сердечно редактора и издателя и всех оказывающих мне такую честь своим вниманьем. И пусть они не огорча-

[1] Репродукция с рисунка Л. О. Пастернака 1888 г.

ются и не падают духом, если меня будут ругать. Этот былой беспорядок, за которым потянулись полосы переводов и долгого наполовину вынужденного молчанья, это еще не все, что я сказал. Но ведь я приеду.

Ну, надо кончать. Знайте, телеграфная переписка очень удобна (ELT), если она не дорога для вас. Поразительно, что я написал вам так много страниц и ничего не сказал. Вы не представляете себе, что бы я отдал за то, чтобы обнять Федю, посидеть с ним и услышать его короткий, отрывистый смех!

Расспросите обо всем Mr'а Берлина. Он был у меня на даче, видел меня 2—3 раза, а также Зину и Леничку, он увидит сегодня Ину и Шуру. Мои переводы Шекспира очень хорошо принимали и оценивали, но пока Худож. Театр «готовил» постановку Гамлета перемерли один за другим все инициаторы этой постановки (Немирович-Данченко, Сахновский и др.) и так везде. Если бы мой Шекспир шел на сцене, я бы разбогател. Но сейчас не идет нигде ничего. Театры учрежденья прямо и чрезвычайно зависящие от «двора», а если я о себе могу сказать действительно что-нибудь определенное, так это что никто не выказывает в отношении властительных особ большей сдержанности, чем я, и шаг еще дальше в этом же направлении был бы роковым. Это и определило двойственность моей здешней судьбы. Но иначе я не могу, таков мой выбор. Вообще же внутренне я пожаловаться не могу, то что у меня было, услышано полнее, чем я мог мечтать. В каком-то смысле у меня легкая, счастливая жизнь.

Какие дети отличные, выразительные и красивые на карточках! Какие у тебя замечательные хохочущие мальчишки, Лида, и как девочки похожи на маму и на тебя! Папа на скамейке весной 1942 г. еще совсем такой, каким был всю жизнь, а на последней уже совсем подкошенный, бедный. Коротко о нас в отношении картин, выставки, перевозки. Мне кажется, что будет еще один, совершенно другой этап нашей жизни с облегчившимся бытом, необходимыми простейшими вещами обихода, возможностями передвиженья, большей ответственностью официальных людей и большей прочности и солидности их обещаний. Тогда можно будет трогать папины вещи нашими руками. А пока рано. Вас уверяют, что этот этап уже наступил, но это по-прежнему вранье! Жива ли Ломоносова?[1] Почему о ней ничего не слышно? Если будет что-нибудь интересное и касающееся меня, извещайте.

Большое спасибо за ботинки (папины?) они очень пригодились. Попробуйте ответить мне по почте. Буду писать и я. Ну вот давайте простимся. Я уверен, мы увидимся.

Ваш Боря.

[1] Р. Н. Ломоносова — вдова инженера Ю. В. Ломоносова, писательница.

О. И. Александровой

1.

25/X 1949.

Глубокоуважаемая Ольга Ивановна!

Как хорошо Вы сделали, что догадались написать мне,— спасибо Вам! Я был на выставке и ошеломлен виденным. Головокружительность дарования этого удивительного мальчика несоизмерима с печальным фактом его смерти.[1] Мне кажется, будь он по счастью еще жив и даже гораздо старше годами, все равно я точно также плакал бы перед этими работами и от волнения не мог бы произнести ни слова. Да как же иначе, когда эти акварели, как живые сходят со стены Вам навстречу, берут Вас за руки, заговаривают с Вами и уводят, куда им вздумается. Тут именно то, горделивое, героическое, торжествующее и победоносное, что заключено бывает в такой степени совершенства, доводит до слез своей безупречностью и силой, и это слезы торжества и ликования, а не какие-нибудь другие! Еще раз спасибо Вам за это своевременное извещение (и в какую подходящую минуту, и как все это мне было нужно!).

Желаю радости и счастья Вам и Вашим близким.

Ваш Б. Пастернак

2.

20 ноября 1949

Дорогая Ольга Ивановна!

Подарите Дмитриевым мое письмо,[2] а я взамен сделаю Вам другой подарок. На выставке по моему совету был один мальчик, очень меня любящий, и которому за это в школе очень попадает. Он, естественно, в восхищении от картин. Но он читал отзывы посетителей, и его удивило, что все это имена, а их отклики так несодержательны и бесцветны. (Я, так сказать, за что купил, за то и продаю, я этих отзывов не видал, это слова этого Андрюши[3]. Сейчас самой высшей добродетелью считается безличие, и многие знаменитости, простодушно недооценивая прирожденной бездарности, еще старательно тренируются и ее себе приви-

---

[1] Выставка работ художника Коли Дмитриева, скончавшегося в 1949 году.
[2] Родителям Коли — Н. Н. и Ф. И. Дмитриевым.
[3] Андрей Вознесенский.

вают. Очень странное заблуждение. Конечно, одним письмом ничего не сделать, но было бы хорошо, если бы это священное цежение слов сквозь зубы перебивалось чьим-нибудь простым голосом, даже предпочтительно неудачным, но только живым. Колина память ни в чем решительно не нуждается, ни в хороших, ни в дурных славословиях, речь именно только о высшем свете, о нравах времени, о тоне, который выдерживает и этот альбом. (Но, может быть, это все фантазии моего Андрюши, и тогда прошу извинения.)

А за передачу письма я бы Вам оставил в собственность экземпляр первой книги романа, который Вы должны поскорее взять у Дмитриевых. Многое там Вам очень не понравится, но Вы и Ваш круг должны знать эту вещь, она очень прямо и полно выражает мои стремления и интересы последнего времени, может быть даже в ущерб художественности и яркости впечатления. Искренне напишите мне потом, не боясь меня обидеть.

Стихи, приложенные к роману, пишет Юра. По замыслу вещи он должен будет умереть в 1929 году. Во второй книге вслед за описанием его смерти будет глава, сплошь состоящая из одних стихов, найденных потом в его бумагах. Приложенные составляют приблизительно половину их, будут еще и другие.

«Охранной грамоты» нет и у меня самого. Я не знаю, как ее достать.

Я много сейчас работаю. Пишу стихи и прозу второй книги (продолжение романа), перевожу поэмы Петефи, собираюсь перевести «Макбета» и вторую часть Фауста. Живу я незаслуженно хорошо, непередаваемо, непостижимо, с такой совершенною внутренней свободой, словно жизнь протекает по моей фантазии и мечте как раз так, как я хотел, со всеми осложнениями и горестями, которых она мне стоит. Как раз сейчас у меня большое огорчение, которое каждый день собирается меня уничтожить,[1] и в ежедневной борьбе с которым заключается счастье и назначение моей работы.

Если Вам покажется, что рукопись выставляет какие-то догматы, что-то ограничивает и к чему-то склоняет, значит вещь написана очень дурно. Все истинное должно отпускать на волю, освобождать. Всего лучшего. Поклон Вашему мужу.[2] Если у него будет желание прочесть роман и потом написать мне, я буду очень рад.

Ваш Б. Пастернак

---

[1] Арест О. В. Ивинской.
[2] Б. И. Аверин.

Симону Чиковани

29 апр. 1951.

Дорогой Симон!

Я забыл взять с Вас или с Мариечки[1] слово, чтобы кто-нибудь из Вас написал мне, не откладывая, о Ваших чувствованиях и впечатлениях, об объяснениях Ваших и, я сказал бы, о Ваших делах, если бы только мог назвать это делами.[2]

Мне очень радостно было встречаться с Вами в этот приезд. Очень печально бывает (и таких случаев подавляющее большинство), когда от человека ничего не остается, и весь он падает, едва из-под него убирают поддерживавшие его костыли и подпорки. В нашем общем восприятии Вы не только не пострадали, от свалившихся на Вас неприятностей, но наоборот, со свежестью, превзошедшей ожидания, эти обстоятельства напомнили, как много Вы получили от природы и как много дали своим талантом и развитием всей общей нашей современности, как настоящий писатель и как подлинная действительная, а не искусственно составленная личность.

И на Ваш счет у меня нет прямого и существенного беспокойства. Меня не беспокоит ни положенье Ваше, ни даже здоровье. Единственное, что тревожит меня, так это вопиюще неравномерное распределение сил между Вами, невыдуманным, чистым, одаренным и правым и целой сворой мелких бездарностей и ничтожеств, порождаемых дрязгами и ими питающихся, озлобленных недочетами своей природы и готовых мстить каждому, кто от них свободен.

И не за Вас я боюсь, не того, что Вам они могут быть опасны или Вас одолеют, но того, что по своей непосредственности Вы можете забыться и вспыхнуть, и вступив в объяснения с этой стихией, доставите радость темной силе и тем поддержите ее. Помните, Симон, с тем большей безропотностью соглашайтесь со всем, что услышите, чем оно будет абсурднее. Евангельское подставленье левой щеки в дополнение к правой есть не чудо святости или вершина подвижничества, но единственный практический выход из положения когда видимость судит действительность.

Но ведь Георгий Николаевич[3], большой человек и поэт, сам наверное не даст Вас в обиду. Я написал Нине[4], и через нее послал по записке семьям Шаншиашвили и Леонидзе. Наверное Нина нашла, что все это

---

[1] Жена С. Чиковани.

[2] Симона Чиковани, который с 1944 г. был первым секретарем Союза писателей Грузии, весной 1951 г. сняли и его смеиил И. Абашидзе.

[3] Г. Н. Леонидзе.

[4] Н. А. Табидзе.

написано недостаточно красноречиво и в наказание молчит. Ее, Марийку, Вас и всех перечисленных крепко целую.

Ваш Б.

И приезжайте поскорее. Помните, мы Вас ждем.

Г. И. Гудзь[1]

7 марта 1953 г.

Дорогая Галина Игнатьевна!

Благодарю Вас за пересылку письма Шаламова. Очень интересное письмо. Особенно верно и замечательно в нем все то, что он говорит о роли рифмы в возникновении стихотворения, о рифме, как орудии поисков. Его определение так проницательно и точно, что оно живо напомнило мне то далекое время, когда я безоговорочно доверялся силам, так им охарактеризованным, не боясь никакого беспорядка, не заподозривая и не опорочивая ничего, что приходило снаружи из мира, как бы оно ни было мгновенно и случайно.

С тех пор все переменилось. Даже нет языка, на котором тогда говорили. Что же тут удивительного, что отказавшись от многого, от рискованностей и крайностей, от особенностей, отличавших тогдашнее искусство, я стараюсь изложить в современном переводе, на нынешнем языке, более обычном, рядовом и спокойном хоть некоторую часть того мира, хоть самое дорогое (но Вы не думайте, что эту часть составляет евангельская тема, это было бы ошибкой, нет, но издали, из-за веков отмеченное этою темой тепловое, цветовое, органическое восприятие жизни).

Не удивляйтесь, что на письмо Шаламова я отвечаю Вам, а не ему, потому что так обстоятельно, как я хотел бы написать ему, я не в состоянии.

И, знаете, отложим мысль о переписке романа как-нибудь до другого случая. Не втягивайтесь в это и не начинайте работы, а как-нибудь на днях, когда у Вас будет время, принесите рукопись жене, мне эти тетради, скоро могут понадобиться.

Февральская революция застала меня в глуши Вятской губ. на Каме, на одном заводе. Чтобы попасть в Москву, я проехал 250 верст на санях до Казани, сделав часть дороги ночью, узкою лесной тропой в кибитке, запряженной тройкою гусем, как в Капитанской дочке.

Нынешнее трагическое событие застало меня тоже вне Москвы, в зимнем лесу, и состояние здоровья не позволит мне в дни прощания приехать в город. Вчера утром вдали за березами пронесли свернутые знамена с черною каймою, я понял, что случилось. Тихо кругом.

[1] Жена В. Т. Шаламова.

Все слова наполнились до краев значением, истиной. И тихо в лесу.

Всего лучшего. Привет Кастальской и через нее Варв. Павл. Малевой и ее мужу.

Ваш Б. П.

Е. Б. Пастернаку

12/VII 54.

Дорогой Женя! Тебя нельзя оставлять без письма. Мама расскажет тебе о нашем разговоре и нисколько не будет виновата, если оставит тебя в неясности насчет моего мнения о твоих стихотворениях. Она не могла вывести из моих слов ничего определенного, потому что никакой определенности они не заключали.

Мне понравился язык твоих стихов. Это лучшая их сторона. Язык этот естественнее и свободнее, чем он бывает у начинающих, любителей, непрофессионалов.

В остальном мои представления слишком далеки от общепринятых, чтобы не только судить о чьих-нибудь попытках, тем более сыновних, в художественной области, но вообще заговаривать с кем бы то ни было, даже отвлеченно, без личностей, на общеэстетическую тему.

Например, когда какие-то годы жизни шли у меня в сопровождении Тютчева, или меня сводил с ума Лермонтов, мне никогда не приходило в голову, что еще лучше бы она шла под целый хор Тютчевых или при участии десяти Лермонтовых. Напротив, я радовался их единственности и немногочисленности, а не вынужденно мирился с ней. Эта единственность требовалась мне, входила в состав моего ощущения, моего наслаждения их символической силой, их условностью, воздействием их одних за всех других. А Маяковскому требуются все эти другие. Ему хотелось, чтобы поэтов было «много и разных». Мне это так же непонятно, как если бы он хотел, чтобы на земле было много солнц или у него самого было как можно больше разных сознаний.

Всю жизнь я вожу с собой умещающийся на одной полке отбор любимых, без конца перечитываемых книг. Однако и среди этих немногих с годами оказываются лишние. А Горький считал целесообразным разводить не только цветную капусту и кроликов, но еще и молодых писателей. Отсюда и институты его имени. Это мне тоже непонятно.

Вот видишь с какими странностями связаны мои суждения, как я в этой области не свободен. И всего охотнее я уклонился бы от этих разговоров, увильнул бы от них.

Когда, бог даст, мы в следующий раз увидимся, я обязательно обсужу с тобой и то, что ты пишешь, и мои теоретические взгляды на искусство, совершенно необязательные для тебя и ненужные, потому что ты

видел только что, как они расходятся с такими серьезными авторитетами. Но сделаем это в устном разговоре. На бумаге это заводит в немыслимые дебри. У меня было две попытки ответить тебе, два неоконченных трактата, которые в раздражении на самого себя я уничтожил.

Нет, нет, это надо будет при встрече сделать лично. А пока повремени. И не выводи из этих умолчаний ничего дурного. Твои стихи многим нравятся, я слышал похвалы им со стороны. Но я в совершенно другом положении. Любителей и знатоков поэзии я никогда не любил. Мне недоставало их начитанности и веры в то, что область их пристрастий реально существует. Их почвы я под собой никогда не чувствовал.

Будь здоров. Крепко целую тебя. Как всегда, я очень занят, здоров, хорошо себя чувствую.

Кланяйся маме и поцелуй ее. Я без напоминания пошлю ей денег — через месяц, в середине августа. Если потребуется раньше, известите.

Твой папа.

Л. А. Воскресенской

1.

12 дек. 1958

Дорогая Лидия Александровна, как меня огорчают Ваши новости, как это Вас угораздило, бедную! Только бы не разыгралось Ваше воспаление! Тетрадка, о которой Вы мне напомнили, имеется у Романовой, я ей позвоню, чтобы она Вам ее доставила, как она сама не догадалась? Держать ее в постели Вам будет легче, чем переплетенную книгу.

Но ведь Вы томитесь в больнице, испытываете боли, до того ли Вам? Я совершенно не принадлежу себе. Бури и анафематствования местного происхождения ничто по сравнению с тем, что ко мне приходит и тянется со всего мира. Я утопаю в грудах писем из-за границы. Говорил ли я Вам, что однажды наша Переделкинская сельская почтальонша принесла их мне целую сумку, пятьдесят четыре штуки сразу. И каждый день до двадцати. В какой-то большой доле это все же упоенье и радость, — душевное единение века.

Выздоравливайте поскорее. Я сам леживал в больницах и знаю, как иногда деревянно звучат эти слова. Но что же сказать другого?

Как Вам легче читать? По-английски, по-немецки? Когда выздоровеете, я дам Вам Доктора Живаго в одном из переводов. В оригинале у меня его нет и не достать. Крепко целую Вас.

Ваш Б. П.

2.

27 марта 1959

Дорогая Лидия Александровна,
благодарю Вас за подарки, Вы меня так балуете своим вниманием, щедростью, добротой! Экзюпери у меня есть полный, но так и не могу урвать времени его прочесть, авось маленького Вашего принца удосужусь пробежать глазами раньше, это давнишний мой долг перед французскими моими приятельницами.

Я обязательно повидаюсь с Вами, может быть даже позднее, летом, соберусь к Вам. Неужели правда хватит у Вас труда и терпения одолевать «Д-ра Ж.» в переводах (тогда бы я попросил О. В. дать Вам и на англ<ийском> и на итал<ьянском>. Оригиналов нет и их получить неоткуда, да и вообще пора «Д. Ж.» считать делом прошлого и, собравшись с силами, подумать о чем-нибудь новом.

Чем отдарить мне Вас за Вашу неиссякаемую сердечность? С чувством неоплатной задолженности кончаю и от души желаю здоровья и радости Вам и всем Вашим.

Ваш Б. П.

3.

25 янв. 1960

Дорогая Лидия Александровна,
я до сих пор не поблагодарил Вас за чудесное, боевое, чтобы выразиться по-нынешнему, веселое, остроумное письмо, за поздравления с Рождеством и Новым Годом, за гору подарков, за конфеты, за Рублева, за Housman'a!

Не думайте, что я неотзывчив и бесчувственен. Я так упрям и во что бы то ни стало хочу опять написать что-нибудь удовлетворительное. Не правда ли, теперь уже не полагается срамиться. А привести это желание в исполнение так трудно, так трудно держать себя в состоянии веры и увлечения. Я так горжусь теплотой Вашего отношения. Оно так обязывает меня!

Преданный Вам

Б. Пастернак

ПАСТЕРНАК Борис Леонидович

ИЗ ПИСЕМ РАЗНЫХ ЛЕТ

Составитель Е. Б. Пастернак

Редактор С. С. Лесневский

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 27.11.89. Подписано к печати 22.01.90 Формат 70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,11. Тираж 150000 экз. Зак. № 1580. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

20 коп. Индекс 70668

ISSN 0132-2095. Б-ка «Огонек». 1990. № 6. 1—48.